



ЗАВЕСА

**ЭФРАИМ
БАУХ**

Эфраим Баух

Завеса

«Книга-Сэфер»

Баух Э.

Завеса / Э. Баух — «Книга-Сэфер»,

ISBN 978-965-7288-21-4

Три героя романа не названы по именам. Философ, пытающийся понять и познать мир и себя в этом мире; Разработчик сверхсекретных систем военного назначения; Предатель, предающий все и вся, даже самого себя и в конце концов сам преданный. Эфраим Баух знал и Берга и Цигеля, но, в отличие от своего «альтер эго» Ормана, под настоящими именами. Подлинны не только персонажи, но и обстоятельства действия романа. Великие противостояния последних десятилетий века минувшего выписаны с обостренной точностью. Центральным событием романа является операция «Мир Галилее» 1982 года, несколько часов которой потрясли мир. ВВС Израиля уничтожили все сирийские ракеты «земля-воздух», и ПВО Сирии, аналог системы обороны Варшавского пакта, оказалась беззащитна. На страницах книги захватывающая линия шпионского триллера перемежается с современным интеллектуальным романом.

ISBN 978-965-7288-21-4

© Баух Э.
© Книга-Сэфер

Содержание

Размышления автора, подвигнувшие его к написанию этого романа	6
Пояснения, вместе с эпиграфом входящие неотъемлемой частью в неоглашенное соглашение между автором и читателем, каковым является данный роман, как и любой знаковый текст	9
Пояснение первое (общее)	9
Пояснение второе (по сюжету)	11
Размышления автора на пороге нового тысячелетия	12
Израиль	13
ОРМАН	13
Ночь на пороге третьего тысячелетия	13
Запретная страсть страха	14
Неотступное и благостное проклятие	15
ЦИГЕЛЬ	16
Повязанный намертво бетоном	16
Интеллектуал и мастеровой	18
С чего начинается Родина?	18
БЕРГ	20
Скудная душа маловера	20
По закону милосердия	20
Советский Союз	22
ОРМАН	22
«Роковые яйца» назревающих событий	22
Пожелтевшие от времени записи отца	25
Израиль, как игла, вошел в сердце	27
«На следующий день, 5 июня, в семь сорок пять...»	28
Молния и гром среди ясного неба	31
Жизнь в двух уровнях	33
Лицо и безликость	36
Ближе собственной сонной жилы	38
Разверзшаяся у ног пропасть	42
Знаки безвременья	45
И настало – отрешенье...	49
ЦИГЕЛЬ	56
Врожденное чувство ищейки	56
Письма, слава Богу, горят	59
Любовь зла...	60
Маска, я тебя не знаю	62
Аверьяныч	64
Заложник пошлой страсти	66
Учитель древности	68
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Эфраим Баух

Завеса

*Не кажется ли вам, Иосиф,
что наш труд – это, в конечном счете,
элементарное желание толковать Библию?*
Тони Хент, из разговора с Иосифом Бродским

*Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное слово*
Анна Ахматова

60-летию Государства Израиль

www.kniga-sefer.narod.ru

e-mail: vitaly_kabakov@mail.ru

тел./факс 09 765 39 92

моб. 050 242 34 52

тел. в Москве: 202 55 10

книжный магазин-клуб «Вайцман 146», Кфар-Саба, Израиль

Размышления автора, подвигнувшие его к написанию этого романа

Уверен: все главные, родовые линии, выстраивающие человеческую жизнь, закладываются в детстве.

Старый, с покосившимися стенами дом, в котором я родился, стоял на правом, румынском, берегу Днестра. Левый берег был советским. Но пространство, которое я видел, лежа на подоконнике, не признавая никаких границ, мощно разворачивалось вдаль.

Колокольня дальнего монастыря была подобна скрипичному ключу к этому пространству.

Еще не осознавая этого, я получил, как нечаянный дар, это первое звучание оркестра жизни.

Время в мое пробуждающееся сознание вошло движением больших вод, на которых несдвигаемо лежала лунная дорожка. Воды эти, не зная ни препятствий, ни страха, катили напропалую и подчинялись лишь наклону земного пространства. Я почти физически ощущал этот наклон. Великое существование вод, не поддающееся никаким временным угрозам, внушало спокойствие и уверенность в надежности корневых законов природы. Оно давало внезапно – пусть на миг – чувство неотъемлемой, самой по себе, ценности жизни.

В размытых сумерках моего младенчества проступал еще неосознаваемыми родовыми линиями изъеденный древоточцами буфет. Влекли и устрашали виноградные лозы и львы, вставшие на дыбы, искусно вырезанные в дереве. Еще два льва из цельного древесного ствола, раскрыв пасти и выставив лапы, держали на головах верхнюю часть буфета.

Грянула Вторая мировая война, втянула всех в бездыханную свою воронку, поглотила отца, вышвырнула нас, истощенных, измученных, на скудный берег жизни. Родной, покосившийся, но устоявший дом встретил нас, вернувшихся из эвакуации, пустыми комнатами. Один буфет, дряхл и непотопляем, стоял на месте.

Голодный и щуплый мальчик, я обретался в двух сталкивающихся в моей душе мирах. В одном, школьном, заглушая неосознанный страх, прочно укоренившийся в сознании, лучезарно пели дифирамбы «вождю всех времен и народов», который трижды щедро одарил меня в дни рождения.

В ночь четырнадцатилетия, 13 января 48-го, – убийством Михоэлса, в день шестнадцатилетия – 13 января 50-го – законом о смертной казни, в утро девятнадцатилетия, 13 января 53-го – делом врачей.

В другом, домашнем мире, ребе, нанятый мамой на скудные гроши, учил меня говорить «кадиш» и читать молитвы в синагоге в день поминовения отца. Появляясь в нашем доме, где все мезузы были оборваны в годы войны, обнажая чистые пятна довоенного времени, он первым делом шел к буфету, касался кончиками пальцев виноградных лоз, целовал свои пальцы и повторял, что эти орнаменты украшали Иерусалимский Храм.

Безработный, но полный профессиональной жажды обучать, он заставлял меня заучивать наизусть целые главы из пророка Исаяи, из Экклезиаста, и, главное, читать и повторять псалмы Давида.

Скрытая мощь этих строк несла в себе вечность, и внутренняя тяга приобщиться к ним переполняла душу. Так я начал писать стихи. Я был уверен, что у каждой души свой Ангел: вот он следит за мной долго, пристально и печально. Отмечает меня среди людской толпы, суетящейся у приводных ремней времени.

Трудно поверить через столько лет, что первое опубликованное в газете стихотворение было к Новому 53-му страшному году. Банальность его праздничных строк, выброшенных

во внешний мир, стерлась из памяти. Но во внутреннем мире, в те же дни, сложилось иное стихотворение, в приснопомытном апреле, после того, как Сталина хватил удар, посвященное тому же Новому году, которое память цепко держит по сей день. Оно было опубликовано лишь в последний год того века, здесь, в Израиле.

Невероятно, но это так: сочинено оно было девятнадцатилетним парнем.

Мчатся в кузове попутки,
В снежной мгле, под Новый год.
Ни огня и ни погудки,
Лишь колеса – влет и в лед.
В эту мерзкую годину
Перед стенкой не застыну,
Где чернеет знак беды —
Углем, хлестко: «В Палестину
Убирайтесь все, жида!»
Вверх швыряет, нет опоры.
Сквозь надсадный рев мотора,
Пасть разинув, стонет тьма,
Воют хором волчи своры,
В круг присев на задних лапах —
Человечьей плоти запах
Просто сводит их с ума.
Волчий зрак свирепо сужен.
Долгий путь ли в жизни ссужен,
Иль ручьем свернусь – как в стужу
Жгутом жгущая струя?
Будь что будет, смерть не минет,
Кровь горячим горлом хлынет —
Это молодость моя.
В ночь – под год пятьдесят третий
Горлом рвутся строки эти.
За какие же грехи
Повторяю, холодея,
В эту ночь Варфоломея,
В бред несущие стихи?
С кузова в кювет ли грянусь
Или вдруг в живых останусь,
Тайну этой тьмы храня;
Опрокинусь ли в овраге,
Не предам стихи бумаге,
Чтоб не предала меня.
В свет, в тепло ворвусь из вьюги,
Где справляете вы, други,
Новый-водочкой-залей.
Знать бы нам в минуты эти —
Вождь, живой лишь на портрете,
Скоро ляжет в мавзолей?!
И встает, как бы помешан,
Чтоб не сгинуть никогда —

Он вином своим утешен,
Радость будь или беда,
Грешно внешен,
Спешно взвешен,
Нежно взбешен
Тамада.

Сорок лет блуждал я в Синае диаспоры, мучимый неразрешимым вопросом: почему я так спешно взвешен и грешно внешен?

В 1977 году я ступил на землю Обетованную, и сразу в душе проступили истинные родовые линии времени и пространства: вертикальная – времени – наслоениями трех тысяч лет Иерусалима, горизонтальная – бескрайней синью Средиземноморья.

И открылась во мне новая родовая линия. По одну ее сторону шумно вращал все свои шестерни и колеса огромный город, Тель-Авив. По другую ее сторону – солнечно безмолвствовало легендарное море, взывая к исповеди.

Часами просиживал на берегу, избывая тоску бездарно прожитых лет, боль – от безнадежной рассудительности, неколебимой трезвости, скучной посредственности прошлого существования. Только прекрасная пустыня моря медленно излечивала, втягивая в себя до такой степени, что казалось, вот, обернусь, а там никакого города. Но надо было обладать пророческой верой Герцля, чтобы эта абсолютная фантазия обрела корни в реальности.

Через десятилетия проживания на этой земле не отстает вопрос, не дающий душе пребывать в дреме. Может ли она обрести новое дыхание, приникая к пространным и престранным фрагментам неизвестных текстов, фрагментарность которых вызывает бурный прилив творческой энергии и острую тоску по полному тексту?

Хотя известно, что завершенных текстов не бывает: все они внезапно начинаются и также внезапно кончаются, и все великие книги это разомкнутые системы, рождающиеся, как Венера из пены морской, и исчезающие в ночи.

Встаю с камня, иду вдоль моря, предчувствуя, что на этой родовой линии выстроятся будущие мои романы.

И будут они числом семь.

Это всегда загадка и печаль, как прихотливо смыкаются обрывки воспоминаний на слабом каркасе времени, воедино скрепляющем человеческую жизнь, переплетая сон и явь и тем самым стереоскопически углубляя зрение.

Шесть романов соединяются в «Сны о жизни», и этот солнечный, ветренный день на берегу Средиземного моря бесшабашно отменяет все, что накопилось за семь десятилетий, жадной надеждой нового начала, белого листа, долгожданно лелеемой паузой покоя, освобождающей пространство души для нового строения —

Воздушного замка —

Седьмого романа.

Пояснения, вместе с эпиграфом входящие неотъемлемой частью в неоглашенное соглашение между автором и читателем, каковым является данный роман, как и любой знаковый текст

Пояснение первое (общее)

События, образы и сюжет этого романа основаны на абсолютной реальности, хотя могут показаться фантастикой и детективом одновременно.

Роман, несмотря на немалые элементы метафизики и мистики, вырос из действительности, казавшейся косной в нашей с годами убывающей жизни, но в итоге изменившейся до неузнаваемости.

Разве не было смертельно опасной фантазией даже думать, что оползающий по склону лет юзом советских республик монстр и вправду рухнет в небытие, да так, что само слово «советский» покажется некоей абракадаброй из дурного сна?

Разве сравнительно недавно не считалось фантастическим предприятием само проживание евреев на Земле Обетованной, не говоря уже о создании там еврейского государства с таким для мира провокационным названием – Израиль?

Выстраивая в течение десятилетий времени структурное пространство текста, опоры которого изнашиваются и разрушаются намного легче, чем каменные, автор давно пришел к выводу, который сделал один англичанин, упоминаемый Стендалем в «Прогулках по Риму». Въехав верхом в Колизей и увидев каменщиков и каторжан, укреплявших стену, он сказал: «Честное слово, Колизей – лучшее, что я увидел в Риме. Это здание мне нравится; оно будет великолепно, когда его закончат».

Текущее бременем событий и временем пространство жизни имеет свои внутренние законы, в которых элементы созидания и разрушения равно важны.

Две великие конструкции принадлежат творчеству Всевышнего: Вавилонская башня и Лестница Иакова. Первую Сам разрушил, вторую Сам построил. В пространстве семи романов «Снов о жизни» все эти реальные и воображаемые строения выступают несущими конструкциями в зодческой мастерской мира.

Можно ли простить автору, который берет на себя риск, пусть в малой степени, но все же совместимый с риском Создателя, с явно излишним оптимизмом воскликнувшего: «Да будет свет!»?

Сорок лет автор прожил в бесконечно строящемся зодчими, называвшими себя лучшими в мире, здании будущего, которое уже первым камнем своего фундамента задавило душу человеческую и скорее походило на необозримую каменоломню.

И все же автор представить себе не мог, что это бесформенное, жестко скрепленное большой кровью сооружение, семьдесят лет рвущееся соревноваться с Вавилонской башней, рухнет в единый миг, и невероятным своим разломом войдет как главный строительный элемент в авторский текст.

Текст этот частью был выброшен в мусор: рукописи не были пропущены при выезде в Землю Обетованную. Частью сожжен на официальном ауто-да-фе: книги автора, как изменника, сжигались по приказу свыше. Частью потерял актуальность.

Только читателю судить, сгинула ли эта часть вовсе, морочит ли еще взгляд, подобно развалинам или остаткам какой-нибудь арки виадукта, непонятно как очутившейся посреди раскинутого вдаль поля.

Главными героями семи романов являются пространство и время, выпестовавшие человеческую душу.

Одним из камней в основании главной книги иудейской Каббалы «Зоар» является закон переселения душ. Душа, не изжившая свои грехи при жизни, мечется от одного края ада до другого его края, подобно камню из пращи Давида, сразившему великана Голиафа, пока не освободится от грехов, чтобы вселиться в новое живое существо.

По мнению же автора, существует еще и закон философского и словесного освоения мира. По этому закону одна и та же неприкаянная душа еще при жизни вселяется в разных людей, изживая себя в каждом из них по линии его судьбы, где господствует его величество Случай.

Пояснение второе (по сюжету)

Берг, проживающий на углу улиц Рава Авигодора Акоена Кука и Строителей в городе Бней-Браке, глубоко верующий человек, гениальный компьютерщик, сидел в кабинете, знакомом ему по прежним посещениям, у генерала Йогева, главы секретного отдела изобретений в области электронных войн Министерства обороны Израиля.

Три дня назад состоялись похороны Ицхака Рабина. На телевизионном экране мелькало лицо убийцы главы правительства Игаля Амира.

Стынувший за окнами воздух казался полным тревоги, растерянности, печали. Зимний день выдался жарким, и это чувствовалось в кабинете, несмотря на работу кондиционера.

Генерал, чисто выбритый, в легкой рубашке, то и дело отирал пот с еще весьма молодой лысины, в то время как одетый в черный плотный костюм и черную шляпу, весь как бы погруженный в собственную черную бороду Берг не испытывал даже малейшего неудобства от жары. Разговор был странный, понятный лишь им двоим, касался некоего Цигеля, дальнего родственника Берга, в семьдесят седьмом приехавшего из Вильнюса.

В тот же день, часом позже, в предвкушении субботнего отдыха, Цигель возвращался с базы военно-воздушных сил Тель-Ноф, где работал в отделе контроля измерительных приборов.

В 18.30 – Цигель успел заметить время на циферблате приборной доски автомобиля – на тесной, забитой народом, улице Ротшильда в городе Ришон-Ле-Цион, он был остановлен полицейским, проверяющим водительские права. Полицейский попросил Цигеля выйти из машины. Водители других остановленных машин оставались в кабинах. Когда Цигель вернулся в машину, там сидели два незнакомых, молодых, очень вежливых человека. Они попросили Цигеля следовать по дороге, которую они ему укажут.

Примерно, через три месяца Орман, слушая во время вождения новости радиостанции «Бет», потрясенно остановил машину у Дома журналистов по улице Каплан, 4, в центре Тель-Авива. В новостях сообщалось, что некий Цигель, репатриировавшийся из Вильнюса в 1977 году, будучи резидентом шпионской сети, работавшей многие годы в пользу СССР, а затем – России, осужден на восемнадцать лет тюремного заключения.

Совсем не к месту или весьма к месту вспомнился одесский анекдот: стучат в дверь: «У вас продают кровать?» Из-за двери отвечают: «Вы к шпиону? Он живет этажом выше».

Цигель жил двумя этажами выше Ормана.

Столь внезапное и стремительное развитие событий подвело черту под знакомством, сближением, неприятием, спорами и суждениями трех этих людей, каждый из которых без труда тянет на главного героя романа.

Автору нелегко в одном романе справиться в равной степени с тремя столь необычными личностями. И все же автор видит в пересечении линий судьбы трех этих человек, где глубине нравственного падения противостоит высота верности высшему Началу, потрясшую его, самого автора, духовную карту проживаемого им пространства и времени.

Карта перекрывает две трети двадцатого века и начало третьего тысячелетия.

Размышления автора на пороге нового тысячелетия

В такой день, на пороге нового века и нового тысячелетия, мы потрясенно ощущаем, что нет большей условности и большей реальности, чем время.

Обычный счет выступает знаком нашей судьбы.

В такой день, на пороге нового тысячелетия, ощущаешь, что жизнь от мгновения ока до вечности выражима лишь искусством и любовью.

Это – два крыла жизненной тайны.

Конец столетия или тысячелетия вводит человечество в транс.

Ужасающие пророчества носились в словно бы сгустившемся воздухе времени, приближающемся к двухтысячному году: тяжкие шестерни трех девяток – 999 – надсадно проворачивали последние дни года, чтоб внезапно с космической невесомостью повиснуть в нулевом пространстве двухтысячного.

В одиннадцатом часу последнего дня второго тысячелетия сижу на берегу Средиземного моря. За спиной во всю вращает свои шестерни, колеса, магазинные кассы, печатные станки, биржевые акции, женскую болтовню по сотовой связи, спутники высоко в космосе, огромный город, романтически названный кучкой людей, заложивших первый камень в это необозримое песчаное поле в начале прошедшего века, «холмом весны», Тель-Авив, вылупившийся заново из ядра высоких технологий, как и вся страна Израиль, маленькая, но подобная пяте Всевышнего, да простят меня верующие за такой человеческий образ.

Сюда, на берег моря, шум огромного города не долетает.

Здесь солнечно и тихо.

Мотыльково белеет парус одинокий.

Голубизна всепоглощающая.

Провалился в небытие диковинный феномен с еще более диковинным названием «советская власть», заполнивший нишу времени десятками миллионов невинных жертв, расстрелянных, умерших от голода, едва засыпанных землей в вечной мерзлоте. Как будто его и не было.

Самое большое чудо, что посреди той всеобщей гибели я остался жив.

В одиннадцатом часу дня на декабрьском солнце ослепительна синь моря.

Два мира, сливаясь в слуховых извилинах, несут мою голову на плоском блюде пространства. Мир города, вращающего во всю все свои колеса так, что слышен треск разрываемой ткани мировой жизни, и мир рыбаков на скалах, мир парусников, погруженных в тишину, очарованных далью.

И все лучшее в нас обращено в это очарованное самим собой пространство.

Израиль 31 декабря 2000

ОРМАН

Ночь на пороге третьего тысячелетия

Последние часы второго тысячелетия беззвучно ослепительными цифрами таяли в сумерках над высотными зданиями «Центра Азриэли» в Тель-Авиве. Орман шел к морю в плотно обступающей его толпе, с необычной торопливостью ползущей во всех направлениях. И внезапно замер.

Два дворника, сдвинув тележки, на одной из которых горел фонарик, почти прижались друг к другу лбами, не обращая внимания на обтекающую их человеческую массу. В слепом движении, лишь изредка поглядывая на меняющиеся в небе цифры, толпа не обращала на них никакого внимания.

Только острый слух Ормана уловил нечто: они пели, тихо, запойно, прикрыв глаза, в два голоса – «На речке, на речке, на том бережочке, мыла Марусенька белая ножки...» Оба были стары. Один по-славянски курнос. Другого выдавала горбинка и печальные еврейские глаза.

Где эта речка с нависшими над нею кустами отцветающей сирени из его, Ормана, юности? А вот же, держала этих двух вместе среди бесконечной чуждости окружающего их мира.

Давно не опахивало Ормана такой неизбывной тоской человеческих душ.

Дошел до моря. Присел на скамью. Гигантский город готовился проводить второе тысячелетие. У моря было темно и тихо.

Этакая уютная печаль колыхала душу.

Странные мысли приходили в голову Орману в эти, казалось ему, почти не сдвигающиеся минуты, ибо ощущались невероятно тяжелыми, несущими на себе весь груз отходящих в прошлое двух тысяч лет.

Он думал о том, что с первыми проблесками человеческого сознания, еще, быть может, с трудом отличающего явь от сна, в нем уже присутствует метафизическая мера мира и, честно говоря, без этой меры мир был бы смертельно скучен.

Не произведение вещи, а изведение вещи из Ничто, из хаоса – вот, по сути, спасение мира, подспудно жаждущего в каждый миг блаженно раствориться в этом хаосе.

Говорил же Орман соседу своему по дому Цигелю:

– Только подумать: три тысячелетия здесь ни одна вещь не безродна. Вникни.

– Лучше вспомни Салтыкова-Щедрина: не вникай. – Ответил, в общем-то, не отличающийся красноречием Цигель. – А то один не вникал, не вникал, а один раз вник – и повесился.

Видно то, что высказал Орман, чем-то сильно его задело.

За дело?

Орман вдруг вспомнил о Цигеле, уже столько лет сидящем в тюрьме.

Обещал ему и давно, хотя время в тюрьме не имеет измерения, передать через его жену книгу Набокова «Приглашение на казнь». Надо бы это сделать.

Покой и тишина у моря погружали в приятную дремоту.

Хорош ли это знак на грани вступления в третье тысячелетие?

Запретная страсть страха

И тут хлынули в память воспоминания недавней поездки в Испанию на философский семинар.

Он, в шумном центре Мадрида, в тесной комнатке отеля Сан-Исидро, Святого Исидора. Постель занимала всю каморку с широким, во всю стену, застекленным окном-дверью на узкий, как щель, балкон, обремененный уймой цветных флагов.

Каморка висела, как над пропастью, над узкой улочкой театров и баров, где с семи вечера начинался галдеж и колобродила уйма молодого народа.

И усиливалось это толпище к полночи – ревело, свистело, пело и пило, глушило и оглушало (то и дело раздавался звон разбиваемой вдребезги о стену бутылки) – до четырех-пяти утра.

Такого быстрого скопления возбужденной, захмелевшей от спиртного и жажды буянить толпы, и столь же быстрого ее рассасывания Орман в дрящущей в эти часы реальности еще никогда не переживал.

И эта малая безмолвная каморка как бы провисала, окуналась в чадный водоворот гама, готового в следующий миг обернуться взрывом насилия, не раз потрясавшего Европу (а Испанию и Германию в тридцатые-сороковые) и готового в миг смести этот уголок покоя и кажущегося спасения, это гнездо бессилия, такое скудное и спесивое одновременно.

Первые дни этот гвалт вторгался в сон Ормана, казалось, неизвестно откуда, охватывал какой-то запретной страстью страха.

Звон разбитого стекла вызывал смертельный озноб «хрустальной ночи», улюлюканье оборачивалось прикладами охранников, бьющими в спину в узком проходе между двумя высокими ограждениями из колючей проволоки по дороге в «печь огненную».

С трудом, преодолевая удушье, вырвавшись из паутины сна, весь в холодном поту, Орман вскочил с постели.

До утра стоял у окна, сомнамбулически привязанный к этому шуму и звериному дыханию алкоголизированной человеческой массы, поднимающемуся к небу спертым запахом, смешанным с запахом гниющих десен и непереваренной пищи.

Затем, опустошенный, как и опустевшая улочка, выходил в нее, напоминавшую место после сражения. Осколки бутылок, груды билетов, газет, реклам, оберток, сметали темнокожие уборщики в одинаковых угрюмо-серых робах, вероятно, форме уборщиков муниципалитета Мадрида.

Он был одиноким и затерявшимся на улочке, в кафе, где два расторопных парня готовили ему кофе. Одиноким, но... выжившим. В течение дня, проходя мимо совсем близкого к гостинице дома, где жил Сервантес, посещая музеи, он как бы отходил, отмокал, возвращался в знакомое ему и так влекущее к себе культурное пространство, но каждый раз очередная ночь смывала этот слой, прокладывала жизнь, как сэндвич в «Макдоналдсе», этим варварски клочущим кратером толпы.

Ничего не изменилось на этом континенте, думал Орман.

Гостиницу эту ему заказали до приезда. И в первые дни он пытался найти другую, но все были переполнены, и он внезапно понял, что это судьба: именно эта каморка открыла ему то, чего бы не могла открыть шикарная гостиница «Капитоль» на Гран-Виа, где он уже однажды был одни сутки пролетом из Барселоны.

И вокруг этого уже нестираемого и неотменимого впечатления, подобного мрачному, черному или полосатому, столбу хаоса, измеряющему время континента, как километровый измеряет его пространство, выстраивались все поездки-странствия Ормана по Европе.

Рафинированный слой архитектуры, скульптуры, живописи, философии, культуры еще более усугублял таящиеся под ним звериные инстинкты, подпитываемые проникающими сюда исподволь и в открытую толпами азиатов, главным образом, мусульман. Они уже не стеснялись во время намаза снимать обувь, сверкая намазанными или замазанными грязью пятками в самых сакральных местах современной Европы – у парламента или знаменитого собора.

Впервые, оказавшись в Риме в семьдесят девятом году, в дни, когда советские войска вошли в Афганистан, а иранцы захватили в заложники дипломатов американского посольства в Тегеране, Орман был потрясен, увидев у колонны Траяна высоко поднятый зад мусульманина и дырку в носке на его пятке. Рядом явно добропорядочный христианин держал на поводке собаку, которая, подняв ногу, орошала портик форума Траяна.

Как сказал Катилина «О, времена, о, нравы!»

Неотступное и благостное проклятие

Каждый раз, возвращаясь из-за границы, Орман идет к морю.

У пространства есть голос – гул вечный, то едва слышимый, то громкий до звона в ушах, и ты догадываешься, что слышишь это только ты.

Полное прекращение гула пространства, этакое безмолвное зияние, означает: оно замерло над зияющей пропастью катастрофы, которая разразится в следующий миг, и тогда только малые зверьки, живущие в плоти земли, наиболее близкие ее теплу и холоду, наиболее чувствительные ее глубинным вздохам, выбегают из нор, берут на себя ее голоса, ее призывы, и в чутком ухе их слабый скулеж отзывается громом.

Орман понимал, что это умение слушать пространство, эта особая чуткость души – пришли вместе с его рождением, стерегут каждый его шаг.

Это неотступное и благостное проклятье обозначало его существование в том потрясающем и абсолютно непонятном, несмотря на все гениальные, тут же покрывающиеся патиной и паутиной скуки объяснения, называемом жизнью.

Еще затемно, в утро этого последнего дня второго тысячелетия, Орман внезапно вскочил с постели от странного слова – «Плевако».

Знаменитый русский адвокат начала двадцатого века словно бы вынырнул укором и напутствием на пороге двадцать первого.

Почти не отрывая пера от листка, в полудремотном состоянии начертил Орман следующее:

«Размышления правнука Плевако.

1. Он утерся. Неужели я плюнул ему в лицо?

2. Не свобода, а сплошное наплевательство.

3. Разве положение обязывает – плевать?

4. Зачем швырять камень – лучше плюнуть.

5. Колодец высох. Неужели это я плюнул в него?

6. Не надо быть метким стрелком, чтобы попасть плевком в душу.

7. Однажды в самоненависти я плюнул в зеркало.

8. «Негигиенично поплевывать в руки, если нет топора», – разглагольствовал палач на профессиональной сходке.

9. Вот мы и расплевались на всю оставшуюся жизнь.

10. Тоже мне – Плевако». Опять уснул. Проснулся.

Долго всматривался в листок с десятью как бы отчужденными от него заповедями то ли назидания, то ли покаяния, похожий на обрывок сна, сам себя начертавший на огрызке бумаги.

Утро было в разгаре.

Далеко, на востоке, уже касалось земли третье тысячелетие.

ЦИГЕЛЬ

Повязанный намертво бетоном

Человек погрузился в безделье и потерял свое присутствие. Очнувшись, он стал искать направление, но оно оказывалось то флангом, то тупиком. В испуге, который, по сути, и обозначил его присутствие, он стал метаться, ища реальность, но каждый раз пробуждался, и все же оставался во сне, как существо до рождения, в оболочке, которую невозможно прорвать.

Единственно, что он испытывал, это конвульсивную боль окружения, которое в какой-то выморочности и даже отвращении пыталось отторгнуть его – человека – от себя, и в собственной беспомощности еще более затягивало связующую их пуповину вокруг его горла.

Уже за пределом понимания и даже ужаса, переходящего в немому несуществованию, последним усилием чего-то, что отличает живое присутствие от мертвого камня, человек отодрал змеиный виток пуповины, по сути, предназначенный ему одному для вливания в него жизни.

Отодрал и проснулся от звука открываемой двери в осточертевшей, как вечность (оказывается, она и вправду может осточертеть до желания самоуничтожиться), тюремной камере. Заступивший на дежурство надзиратель с лицом, не запоминающимся именно потому, что оно было слишком знакомо, принес еду и книгу Набокова «Приглашение на казнь». Они тут смеются по два, а то три раза в день, чтобы в полной мере сохранялась отчужденность. Но для узника, повязанного намертво бетоном, они, чьи лица явственно заедены ежедневным, таким для него царственным, бытом, существа иного мира, начинающегося тут же, за стеной, и в нем ты можешь идти безостановочно в любом направлении.

Только в этой могильной стесненности понимаешь, что означает захлебнуться пространством.

Книга, лежащая на столике, свидетельствует о некоторой роскоши, недоступной человеку застенка. Орман обещал ее достать год или три назад.

Время столбом плесневеет в абсолютно высохшем колодце, но вот обозначился слабый влажный сдвиг: жена принесла книгу. Это вовсе не невероятно: ощутить отпечатки ее пальцев на обложке.

На миг проскользнуло любопытство надзирателя к этой книге на незнакомом ему русском языке, вылистанной вдоль и поперек офицером, знающим русский и ответственным за передачи.

Выходит, те, кто освободил его от ремня и шнурков, решеток и гвоздей в стене, не просто дарят ему его же ненужную жизнь, но и с непонятной ему заинтересованностью, скорее даже страстью, пекутся о ней.

Такого глубокого обморочного падения в самого себя он еще никогда не испытывал.

Вероятно, оно в приближении обозначало его истинное падение.

На миг он даже не мог припомнить своего имени.

«Коз-е-ел!» – кто-то окликнул его из школьной юности, переводя с языка идиш его имя.

«Цигель!» – вспомнилось. Вздрогнул человек, осваивая самого себя в бетонном кубе, радуясь тому, что обнаружился потолок и, главное, излюбленная им из четырех стена перед глазами.

Камера была избыточно недвижна, намертво, через его позвоночник, прикручена к безвременью.

Только чай в кружке опаивал его утончившийся нюх запахом керосина из давних-давних лет военного детства в эвакуации.

Только обострившееся зрение замечало в этой недвижимой бездыханности, что кружка движется к краю столика. Невероятно медленно. Но за этим краем – смерть или свобода.

Как же это он, больше чумы боящийся тюрьмы, готовый в любой миг продать себя с потрохами, только бы не попасть в эту яму, гниет на ее дне?

Опять начинается это наваждение, бег по кругу, когда сам за собой гонишься до потери дыхания, заведомо зная, что с тобой случилось на твоём веку, но ищешь и теряешь, ищешь и теряешь нить своей жизни, которая где-то же внезапно оборвалась.

Можно, оглянувшись из этого бетонного мешка на всю свою прошедшую жизнь, ужаснуться, но это так: со школьных лет таилась в нём тяга, скорее, даже одержимость подглядывания и подслушивания.

Даже губы пересыхали от желания рассказать кому-нибудь услышанное, налегавить. Это захватывало его целиком. Это спасало его от вызывающей тошноту скуки жизни.

Была ли эта одержимость подобна kleptomании?

Выражала ли она его свободную волю, о которой он столько спорил с Орманом и Бергом?

Что это он все размышляет в настоящем времени, когда в этих стенах времени этого нет. Только прошлое.

Что это он с той же одержимостью обсуждает с самим собой доносительские импульсы, порывы внутреннего диктата?

Слабый писк оправдания еще более изводит.

Оказывается, в этом гибельном месте может быть и смешно: слушать собственные покаяния.

Но разве здесь, в Израиле, не изменяют, не лгут, не приукрашивают или, наоборот, не очерняют?

Удивительно, как многие там, рискуя свободой, работой, семьей, ни за что не хотели сотрудничать с органами. Здесь же готовы – помочь, выложиться, выложить все. Видите ли, говорят, здесь я со своим малым, многострадальным народом, на который катит бочки вся «империя зла», тут и жизни не пожалеешь.

И вправду, сколько в мире историй о хитроумных израильских шпионах и контрразведчиках, и все восхищаются, мол, один Давид всех Голиафов одолевает.

Но ведь и местные шпионили в пользу той сверхдержавы, во имя опять же того светлого будущего, что сегодня просто груды хлама.

Куда ни кинь – везде шпион.

Беда Цигеля, что попался. Да что юлить перед собой и этой стеной, единственным неблагодарным и молчаливым собеседником.

Опять заносит. Не торопись, Цигель, думай медленно.

Времени у тебя, выпавшего из мира, вдоволь. Не давай себе опять уткнуться в излюбленную из четырех, исчезающую, манящую или молящую разбить об нее голову, личную стену Плача.

Тюремная камера – подобие космической камеры: то же потустороннее одиночество – только камера недвижна, и не пространство, а время со свистом или безмолвно проносится мимо, хотя явно стоит на месте.

Подумать только: сегодня последний день второго тысячелетия, а его даже не вывели на прогулку. Зачем? Ведь в этот праздничный день он-то начисто выпал из времени.

Память в тюрьме обостряется. Внезапно через тридцать-сорок лет замечаешь какие-то детали, словно схваченные вдали боковым зрением и хранящиеся в запасниках памяти на «черный», поистине черный день жизни.

Интеллектуал и мастеровой

На воле память – суррогат жизни.

В неволе жизнь – суррогат памяти.

Только сны и несут легкой муторной взвесью его жизнь в этих стенах.

Сон – это иная страна, хотя в ней все знакомо.

Часто снится то, что когда-то составляло нечто тайное, чудесное, необъяснимое. Например, внезапный предел города, последняя стена, обрыв и переход в степь или в лес, и он в них пропадает, растворяется, пока не обнаруживает себя в новом городе.

Эти внезапные пределы обозначали непочатый край набегающего пространства жизни.

Последний раз это ощущение охватило его именно тогда, в парке Канада, на месте древнего города Хамат, по-христиански Эммаус, и место это освещало и освящало миг над этой долиной, Аялонской долиной, где по мановению Йошуа бин-Нуна остановились солнце и луна.

Удивленный пронизательностью девицы, шутливо назвавшей его шпионом, он шел в гущу кустов, успокаивая себя, пока опять же не наткнулся на стену – монастыря молчальников.

Теперь же пределом опять была стена, одна и та же, изученная до тошноты во всех своих шероховатостях, бугорках и впадинах.

Единственно, что удивляло еще, это его собственное существование – пульс, голод, рост ногтей и бороды в этом мертвом каменном углу, вернее, бетонном мешке.

С чего начинается Родина?

В 1992 году, в Хельсинки, Цигель в последний раз встретился со своим куратором Аверьянычем, подозревая слежку и приехав по собственной инициативе, чтобы избавиться от всего «шпионского багажа».

Сидели в русском ресторане «Три богатыря».

– Слышь, – сказал Аверьяныч, – ты хоть одну русскую песню помнишь?

– Что?

– Ну... С чего начинается Родина, – прохрипел Аверьяныч горлом безголосого существа, абсолютно лишённого музыкального слуха, и осекся.

– Что с вами, Аверьяныч?

В дрожащем голосе Цигеля с трудом различалась забота о ближнем.

Скорее, это была тревога за себя.

– Проверка лояльности, – сухо и отчужденно добавил Аверьяныч.

На том и расстались.

С того дня, в течение двух с половиной лет, тревога не покидала Цигеля, как и слабый, но неисчезающий запах гниющих десен, хотя он их каждое утро и на ночь массировал щеткой и пахучими пастами.

Когда два молодых человека, оказавшиеся в его машине, приказали ему ехать в указанном ими направлении, он боялся открыть рот, ибо чувствовал, что страх сделал свое дело, и запах гниения будет невыносим сидящим вплотную.

Внезапно открылось ему давнее мгновение в Венеции, где ни с кем не надо было встречаться, и он в первый и последний раз ощутил острейшее чувство свободы, равной одиночеству; и показалось ему, что он оглох от счастья и опьянел от этого одиночества посреди мира, жена осталась в гостинице.

Никакие полотна, скульптуры, орнаменты дворца Дожей не могли сравниться с богатством этого душевного освобождения.

Он остолбенел в тот миг, слезы навернулись на глаза. Лицо непроизвольно искривилось в дурацкой улыбке.

За такое мгновение можно было отдать жизнь.

И не боялись сидящие рядом, в его машине, молодые люди: ведь он мог в любой миг рвануть руль в сторону, врезаться в столб или в стену.

Хотя куда бы он рванул в этом медленном, сжимающем потоке автомашин?

Внезапно осознал, что в слове «удушь» трепыхалась выдавливаемая из тела его «душа».

Само пространство стискивало железным обручем горло, заботливо оставляя лишь щелочку для дыхания.

Никогда раньше он не вел машину с такой осторожностью, как в эти последние минуты явственно и неотвратимо уменьшающейся свободы в сжигающем легкие горячим и сжимающим тело железом движении в небытие.

БЕРГ

Скудная душа маловера

Берг завершил утреннюю молитву. Включил компьютер. Но не мог сосредоточиться. Дал же ему Святой, благословенно имя Его, родственничка, этого Цигеля.

Ощущение неприятия к нему Берг, принимающий мир по каббалистическим законам суда и милосердия, старался подавить. Смешон ему был этот компьютерщик-недоучка, с брезгливостью поглядывающий на Берга, копающегося в ржавом нутре стиральной машины.

Справедливо ли, что этот самоуверенный неверующий типчик, душа которого никогда не подвергалась очищению и исправлению, ступал по той земле, где обретался сам великий рабби Нахман из Брацлава?

Святость тех мест была для Берга столь велика, что он даже не осмеливался ехать, как другие хасиды, на могилу рабби Нахмана в Умани.

– Брацлав? Умань? Святые места? – говорил Цигель. – Заштатные провинциальные дыры в Хохляндии.

– Где?

– Ну, на Украине. Там же сплошные хохлы.

Чувствительный Берг понимал, что Цигель пытается растравить ему душу, и потому еще сильнее демонстрировал равнодушие.

Вдруг спросил:

– Скажи, у тебя когда-либо возникало чувство незаконности пребывания на этой земле?

– Мне, как еврею, литовцы все время это втоптывали в душу.

– Ну, это в нижнем мире, а я имею в виду мир высший.

– Неужели можно жить в этом, как ты говоришь, высшем мире, ковыряясь в ржавой стиральной машине? – Цигелю ужасно мешало отсутствие в иврите уважительного «вы».

– Логика у тебя железная, но, к сожалению, тоже весьма ржавая. В тебе живет скудная душа маловера. Вера же, понимаешь ли, основана не на логике, даже самой чистейшей, а на свободной воле. Только через нее открывается любовь к Святому, благословенно имя Его.

– Для меня «свободная воля» звучит как ругательство. Знаю, сейчас скажешь: побойся Бога.

– Ты и сказал.

Цигель был раздражен. Волновался. Чувствовал, как этот ускользящий от него, вызывающий в нем аллергию человек, непонятным образом чертовски тянет к себе. Ну что компьютерщик может противопоставить этой глубокой вере? Компьютер.

И тут Берг сразил его окончательно:

– Стоит ли чего-то интеллект без любви, компьютер без Святого, благословенно имя Его, великие открытия без Его призрения?

По закону милосердия

Так или иначе, через много лет Берг, верный закону милосердия, посетил Цигеля в остроге по особому разрешению.

– Тело наше – тюрьма, – сказал Берг, воздев глаза к потолку. И не было понятно, шутит ли он или погрузился в мгновенную медитацию.

И тогда Цигель довольно сносно в переводе на иврит прочел две строки Ахматовой:

– Всего прочнее на земле – любовь,
И долговечней царственное слово

Лицо Берга, упрятанное в черноту бороды, внезапно высветилось. Глаза увлажнились.

– Ты читаешь псалмы? – спросил он. – Это про царя Давида.

Само посещение Бергом Цигеля в тюрьме было неожиданностью, приятной лишь в смысле, что на короткое время вывели Цигеля из одиночки.

Но еще более неожиданным было то, к чему перешел Берг от псалмов Давида.

– Я думал, в Казахстане жарко, как у нас, а там собачий холод, особенно сейчас, в декабре.

– Что ты вдруг вспомнил о Казахстане? – с усталым удивлением и уже никому не нужной подозрительностью давно пойманного зашаталя спросил Цигель.

– Мой приятель рав Консовский – большой специалист по инженерным системам. Ты, быть может, краем уха, оно ведь у тебя сверхчуткое, слышал о запуске израильского спутника «Амос». Так вот, рав Консовский руководит этим проектом в авиационной промышленности.

– Такой же черный жук, как ты? (Вот тебе за «сверхчуткое ухо»).

– Более чем. Так вот, запускали израильский спутник с Байконура. Те самые русские, которые хотели в семидесятые годы арабскими руками стереть Израиль с лица земли, а в восемьдесят втором из кожи вон лезли узнать, как Израиль уничтожил ракеты САМ и самолеты в Сирии.

– И как же он их уничтожил?

– С помощью Святого, благословенно имя Его.

– Ну, уж. И много ваших, пейсатых, в этой... авиапромышленности? В Тель-Нофе я их что-то не видел.

– Представь себе, более ста человек. Что ты сравниваешь ваши дела по чистке моторов и контролю измерительных приборов. Это все равно, что чинить стиральные машины.

– Продолжаешь?

– А как же. Кормить семью надо.

– Ну и жук же ты чернющий. Ты что, приехал по мою душу? И как же они там, в Казахстане, молятся?

– У них там синагога. Русские на Байконуре с большим любопытством и уважением смотрят на молящегося рава Консовского и его товарищей.

– Неужели они более любопытны, чем я, когда смотрел на тебя, молящегося?

– Но с меньшей враждебностью. Хорошо помню твои глаза. Времена, понимаешь, иные.

– Ну да. Русский с евреем братья навек. Как же ты так обкрутил меня вокруг пальца, родственничек?

– А мыслящих на уровне стиральной машины и обкручивать не надо.

– Ты показывал на компьютере «морской бой» для учеников младших классов, имея в виду «воздушный бой» взрослых дядь?

– Рибоно шель олам, Владыко мира, что за детские выдумки!

– Ну, так дружки твои на Байконуре сильно мерзли?

– Ужасно.

– Ты там не был случайно?

– Я по другой части.

– Ну да, по части беспилотных аппаратов.

– Представляешь, – оживился Берг, – США по мощи намного обогнали весь мир. Так вот, родственничек, по части беспилотных Израиль опережает их, пожалуй, лет на десять.

– Свидание окончено, – встал со стула до сих пор как бы дремлющий надзиратель.

Цигелю же оставалось сидеть еще долго.

Советский Союз Лихолетье: 1967-1977

ОРМАН

«Роковые яйца» назревающих событий

Стояли знойные дни начала июня 1967 года.

Орман в отвратительном настроении сидел в полутемной клетушке, называемой кабинетом, в редакции областной газеты, куда совершенно неожиданно для самого себя три месяца назад был взят на должность заведующего отделом литературы и искусства.

Семь лет назад он закончил факультет иностранных языков Ленинградского педагогического института имени Герцена, куда, кстати, попал, сам в это не веря, ибо евреев туда не брали. По распределению был направлен в город своей юности (опять повезло), в Библиотечный фонд, где прозябал над переводами с французского и английского различных заказных материалов.

Была молодость, любимая жена, ребенок, шумные гулянки со старыми друзьями, даже присутствие в этом городе женщины, из-за которой он когда-то чуть не сошел с ума, вообразив себя Гамлетом, южное солнце, мягкие зимы, высокие ночи с густой россыпью звезд.

Но все это не могло заслонить мерзость времени, которое тягостно и неотвратимо высиживало «роковые яйца» назревающих событий.

Единственной отрадой были ночные часы.

Жена и сын спали, и чудный покой нимбом витал над их головами.

Он глядел на них и думал о том, что во сне человек более близок к растению, молчаливо растущему, несущему в себе не только идею, но и реальность цветка и плода.

Не душа ли это – распускающийся цветок, дающий начало плоду – плоти?

Спящий человек, особенно женщина, полна покойно пульсирующей и потому особенно глубинной своей сущностью, квинтэссенцией жизни.

И потому, глядя на спящую жену, Орман сам ощущал причастность к тем глубинам, где сновидения соединяют с пугающей легкостью этот и тот миры. И все ушедшие, и даже еще не пришедшие – в фантазиях женщины о будущем ребенке, увиденном ею в других детях – уживаются вместе, ткнут особый мир, из которого нередко так и не хочется уходить.

Казалось бы, отсутствие словечек типа «Ты меня любишь?» или «О чем ты думаешь?» – всей внешней будничности пребывания в бодрствовании, отмечало пустоту проходящего времени. По сути же, связь между спящим и бодрствующим выявляла полноту существования.

Кажущаяся бессознательность спящего несла в себе цельность существования, берущего в счет эту и ту сторону жизни, и тем самым расширяющегося до самых своих корней, до самого тайного ядра – жизни.

И это было сродни иным проявлениям этого ядра, таинства самостоятельной пульсации чуда, называемого сердцем, с момента, когда комок плоти издавал первый крик, означающий вдох и выдох.

И это было сродни лунному мерцанию, накату волн, скрытому гулу речных вод, неслышному росту трав под столь же неслышным, но ощутимым ветерком. Это были не сны о жизни, а сама ее суть, говорящая, что жизнь, кажущаяся сном, и есть жизнь. Не тут ли таилось чудо

прикрытых глаз статуй, или даже открытых, но не видящих, погруженных в сон, во внутреннее видение?

Не потому ли статуи эти особенно прекрасны?

Спокойно спящий человек словно бы пребывает в облаке беззащитного, и потому истинного счастья.

Может, это и есть корень и суть сна – обнаруживать тайную связь между душой и природой, все время помня, что в тебе душа – тоскующая, взыскивающая быть душой в этой как бы равнодушной природе.

Вечность, принимаемая как равнодушие – находка человека, неустанного жалобщика на судьбу.

Все это обдумывал Орман в эти поздние часы, и при слабой ночной лампе записывал бисерным почерком страницу за страницей свои философские размышления, строки стихов, накапливающиеся за день. При этом он испытывал истинное наслаждение, смешанное со страхом, ибо понимал, что попади эти стихи и записи в руки «критиков в штатском», его могут запросто упечь за решетку.

Отличное знание французского и немецкого и достаточное – английского не только выделяло, но и отделяло его от сверстников, давало ему неоспоримое преимущество, но и могло принести серьезные неприятности.

Для переводов с иностранных источников, особенно ежедневных газет и ежемесячных журналов, необходим был допуск в «спецхран», который выдавали те же «критики в штатском», гордо присвоившие себе титул «рыцарей без страха и упрека». Им недостаточны были заполненные Орманом анкеты.

Директор Библиотечного фонда вызвал Ормана в свой кабинет, где сидел некто с лицом, изможденным от бессонницы, то ли по нервному истощению, то ли по своим полномочиям. Некое действие произошло одновременно: директор спешно покинул свой кабинет, а некто взмахнул красной книжечкой и отрекомендовался – «Капитан Комитета государственной безопасности Козлевич». Измельчал герой «Золотого теленка», подумал про себя Орман. Не столько красная книжечка и чин, сколько фамилия Козлевич не предвещала ничего хорошего. Дело в том, что Ормана со школьных лет преследовали козлиные фамилии. В военкомате майор Козляковский поиздевался над ним, когда он пришел брать открепление перед отъездом на учебу в столицу. По непонятной Орману причине майор возбудился, стал стучать по столу копытами кулаков и блеять: «Интеллигент? Иняз ему нужен! Забрею!» Пришлось Орману ехать в республиканский военкомат. Там его и открепили. Ненавидел его секретарь факультета Козлюченко, очевидно, именно за знание языков: все годы учебы делал ему мелкие пакости. И вот теперь на тебе, Козлевич. А ведь считал, что Ильф и Петров это имя выдумали.

– Нам надо встретиться. Но не здесь. В гостинице. У нас к вам разговор.

Лицо Козлевича, поджидавшего Ормана у гостиницы, при свете дня казалось еще более изможденным, чем вчера, в кабинете. Он повел Ормана не через ресторан, в котором Орман сживал с друзьями не раз, а задним ходом, через кухню, и запахи гниющих отбросов вместе с созерцанием искривленных каблуков ковыляющего перед ним профессионального топтуна Козлевича вызывали у Ормана устойчивое отвращение.

В номере их ждал «некто». Также заученным жестом повел перед носом Ормана красной книжечкой и прогнусавил: «Полковник Лыков». Предложил сесть, глядел в какую-то бумажку. Прочитал: «Элита, как улита, – боится «лита»... «Не литуют, а лютуют»... Это ваши афоризмы?»

Кто же это доносит в редакции? – мелькнуло в голове Ормана. Берут на испуг. Мог бы сказать, что не его: вряд ли они записали с голоса. Сказал:

– Мои. Я вообще люблю играть словами. Например, можно ли в одном предложении семь раз обыграть слово «рука»? Вот: «Надо взять себя в руки, набить руку в своем деле, быть

легким на руку, но, упаси Бог, быть нечистым на руку, чтобы, как торговец сбить с рук, или, как вор, сбить с рук, и в результате остаться с пустыми руками».

– Но как быть с «литом», – спросил несколько сбитый с толку интеллигент-полковник, про себя, кажется, считая, действительно ли «рука» повторялась семь раз. Губы едва шевелились, как у школьника.

– А что «лит»? Цензура. Кто же ее не боится.

– Читали мы ваши переводы. Действительно, набили руку. – Сострил полковник. – Откуда вы так превосходно знаете языки?

– Старался пять лет.

– Нам иногда нужны переводы материалов, которые не предназначены для широкого чтения.

– Ну, я готов переводить.

– Но для этого вы должны подписать документ о сотрудничестве с нами.

И Орман, уступчивый, душевно мягкий, спотыкающийся о собственную ногу от интеллигентности, внезапно ощутил в себе неизвестное доселе чувство. Он окаменел. Чужой голос вырвался из его рта:

– Никаких документов о сотрудничестве я подписывать не буду.

На лице Лыкова, профессионально умеющего сдерживать свои чувства, возникло досадное удивление.

– Но мы можем вам не дать допуск.

– Что ж, надеюсь, вы не запретите мне переводить для издательства «Трех мушкетеров» Дюма или «Записки Пикквикского клуба» Диккенса. В конце концов, я законопослушный советский гражданин, и вы, назначенные государством печься о нас, не оставите без куска хлеба молодого специалиста с женой и ребенком.

Самое удивительное, что тирада эта была абсолютной импровизацией и, вероятно, именно это произвело на Лыкова впечатление. Возникла довольно долгая пауза. Лыков барабанил пальцами по столу, на котором подрагивали раскрытая бутылка вина и непочатая коробка шоколадных конфет.

– Ладно. Связь будете держать через капитана Козлевича.

Лыков встал, давая понять, что аудиенция закончена. Руки не подал.

Орман шел по улице, пытаясь расслабиться. И хотя руки и ноги у него дрожали, он был доволен собой. Козлы, думал он про себя, так я и расскажу вам, откуда у меня такое знание языков. Сейчас, небось, провал очередной вербовки запивают вином и заедают конфетами за счет нас, налогоплательщиков.

Ощущение цельности, идущей изнутри, открылось ему в шестнадцатилетнем возрасте. Оно несло в себе независимость, упреждающую любое давление снаружи. Ощущение этой цельности было настолько самодовлеющим и прочным наперед любого объяснения, что от него откатывались все, охотившиеся по его душу. Может, это и было вызывающим улыбку покушением на его бессмертную душу?

Эту независимость, расширяющую его жизнь по сравнению со сверстниками, давало знание языков. Через них вел его путь, огибающий всю мерзость реальности.

Противостояло ли безмолвие пути окольного – колокольному грому и холуйно-аллилуйному пению, от которого у поющих глаза вылезали из орбит и закладывало уши?

Внутренняя незаемная элитарность, раздражающая окружающих, противостояла внешней угнетающей утилитарности.

Согласившись даже только переводить, он все же поддался. Вынужденная эта уступка не давало ему покоя.

Пожелтевшие от времени записи отца

Во время войны отец служил командиром топографического взвода в артиллерийском полку, был ранен. После выхода из госпиталя его направили в строительный батальон таким же топографом. Строили какой-то секретный объект. Матери с сыном позволили переехать в село, сравнительно близкое к месту службы отца.

Удивительно свойство памяти: для нее все – настоящее.

Время пребывания в том заброшенном селе вспоминается, как один долгий день. И он, худой мальчик, идет по степи. Возникает из-за горизонта соседнее село. Оно настолько выпукло ясно, прочно и неисчезающе, что, кажется, мальчик застыл в каком-то миге, заполненном солнцем, и нет никакого прошлого и никакого будущего, только этот вбирающий всю жизнь миг или день.

Они вернулись из эвакуации в 1946 году. Их дом уцелел. Мебели, конечно, не было никакой, кроме старинного громоздкого буфета, изъеденного древоточцами, но все еще прочного, наводящего в ночной темноте страх оскаленными пастями вырезанных из дерева львов. На них, как на атлантах, держалась верхняя часть буфета.

Отец устроился геодезистом и однажды не вернулся домой с работы. Его нашли замерзшим в одном из подъездов. Спиртного отец в рот не брал. Смерть его так и осталась тайной. Хотя через много лет один из сотрудников отца, Махоркин, оторвав первую половину фамилии и став писателем Кином, опубликовал роман, посвященный отцу, под названием «Кин и Орман», в котором попытался приподнять завесу над этой трагедией.

По сути же, странно было Орману-сыну читать про себя в то время, когда, казалось, все герои этой юношеской трагедии ушли в прошлое. Но вот же, еще одна завеса была вовсе не приподнята, а оборвалась, и возникли перед ним опять те лица, которые он вычеркнул из памяти, хотя многие из них продолжали проживать в этом же городе.

Конечно, автор все заострил и преувеличил, но и по сей день, видя краешком глаза в туманом отдалении городской толпы мельком лицо своей первой любви Тани, отец которой и был повинен в смерти Ормана-отца, Орман-сын чувствовал, как что-то внутри обрывается.

Как-то, в школьные годы, он, словно бы по какому-то наитию, пошарил за перекладной внутри верхней части буфета и нащупал бумаги.

Это были записи отца на французском и немецком. Находка была совершенно случайной и абсолютно неожиданной. Она пролежала там, пережив тридцатые и сороковые годы, мировую войну, гибель отца.

Полистав эти уже пожелтевшие страницы, заполненные мелким, но ясным, ровным, отчетливым почерком отца, столь незнакомым на французском и немецком, школьник Орман тут же вложил их на место до лучших времен.

Само место было залогом, что это сохранится.

Настало отрочество. В те дни главным пространством проживания Ормана стал пляж, захватывающее холодком течение вод, знакомые и незнакомки, голые тела, скрытый эксгибиционизм, игры в мяч, ощущение своего молодого горячего тела, легкость прыжка, древнейшее чувство земноводного. Он пропадал на пляже целыми днями. В сумерках был особенно силен запах нагретого тела, слышны глухие манящие голоса незнакомок, шорох вод, трущихся о песчаный берег. Было ветрено, мелкая зыбь колыхала не менее зыбкие лодки.

Пошли эротические сны, в которых, главным образом, выступали одноклассницы. Сны эти пробудили интерес к рифмоплетству, в котором в достаточно короткий срок Орман достиг внушительных результатов.

Поражало, с каким тайным интересом стали относиться к его еще такой сырой способности к плетению слов. Какие-то незнакомые ребята приводили неизвестно откуда молодых

поэтов и с явным злорадством следили за Орманом в то время, как очередной «гений» заливался соловьем, слыша лишь самого себя. Выходило, что за Орманом наблюдали изо всех щелей, некие тараканы или клопы. Первые были противны, но безвредны, вторые кусали. В те дни всеобщей слежки он испытывал страх от повышенного внимания к себе. И все же однажды юношеское тщеславие взяло верх, и он прочел одноклассникам:

Ты чувствуешь, торчит мой юный бог,
И так уперся в нежный твой лобок.
Он глубь твою ведь знает назубок,
А ты ему все подставляешь бок.

Ребята впали в неописуемый восторг. Но тут же кто-то донес директору. Взъелись учителя. Счастье Ормана, что он это нигде не записывал, хранил в памяти. Как говорится, реальных улик не было. Но урок запомнил, и впервые задумался над тем, может ли простая глина, даже напитанная водой, смягчающей и делающей ее податливой, сопротивляться гончару, скульптору? Где грань, за которой послушная воспитанию душа начинает жестко сопротивляться покушениям на ее свободу, озлобляться или замыкаться в себе, как в раковине. После этого урока Орман уже не был простой глиной. Душа его уже была разборчивой и впитывала лишь то, что обладало тайной вольностью под маской смиренной благовоспитанности в самодержавном духе, сущностью которого был один голый страх. А на требования директора школы признаться в авторстве твердо отвечал, что вообще не знает, о чем речь, и не понимает, что от него хотят. Вызывали вероятных слушателей этого стишка. Но никто, как говорится, не раскололся: не слышали, не знаем.

Все это послужило ему уроком – не школьным, а жизненным – на многие годы: запомнил, что живет в гиблой среде зашутателей.

Время от времени Орман прощупывал пальцами, на месте ли бумаги. Ему все еще казалось, что все это померещилось или приснилось.

Но вот настало время, и он извлек эти бумаги, начал читать и расшифровывать со словарем.

Это были философские записи. Они пробудили в Ормане интерес и побудили к дальнейшим поискам.

Имена Гуссерля, Хайдеггера, Канта, Гегеля давали направление поиска. Страсть к языкам у сына теперь вполне объяснялась генетически. Орман-сын отныне прятал и свои записи в этот тайник, оправдавший себя в течение целого века.

Время стыло в покосившихся стенах отчего дома.

В библиотеке попалась ему какая-то книжица о Канте.

Забившись в шалаш, который он соорудил во дворе, Орман читал, испытывая удивительное чувство узнавания. В далеком Кенигсберге были те же деревья, что шевелили листвой над шалашом, те же травы, и воды, и небо, и солнечные пятна, и Кант пересекает городскую площадь, часы бьют на ратуше, хотя время кажется застывшим, и Кант в нем – как бабочка в янтаре. Слово имеет удивительную слабость и потрясающую мощь: кант в петлице какого-нибудь вечно пьяного старшины, и философ Кант, пытающийся вести диалог с Богом.

И сам Орман в этом солнечном полдне ощущал себя бабочкой в янтаре, даже не пытающейся вникнуть в грядущую печаль, с которой позднее вглядывался в себя, подростка, беззаботно, неосознанно, и потому особенно сладостно прожигающего время жизни.

Позднее все свои работы Орман-сын будет открывать посвящением памяти отца, подчеркивая, что он обязан продолжать прерванные по жестокой прихоти судьбы самые заветные размышления отца.

Благодаря знанию языков Орман-сын мог читать в оригинале тексты, явившиеся в Россию в не всегда удачном переводе через много лет, помимо того, что Кант, Руссо, Гегель были жестко усечены цензорами.

В последние годы Орман стал печатать в газетах вполне благопристойные с точки зрения начальства статьи на литературные и философские темы. То, что ему вдруг предложили возглавить отдел литературы и искусства газеты, конечно же, обрадовало, но и насторожило.

Сегодня оправдались плохие предчувствия. Час назад в его сумрачную клетушку развязно вошел не сразу узнаваемый им человек.

– Привет, Орман, ты что, братуха, не узнаешь?

Конечно, узнал: одноклассник Вася Кожухаренко, друг ситцевый, которого не видел с момента получения ими аттестатов зрелости.

– Откуда вынырнул, Вася? Я и не знал, что ты здесь, в городе?

– И не мог знать. Я ведь секретный сотрудник, сокращенно, как вы говорите, сексот.

– И что тебе от меня нужно?

– Принес тебе, как голубок в клюве, весточку от полковника Лыкова, соображаешь?

– Ну?

– Значит так, братка, – Вася извлек из внутреннего, вероятно, весьма обширного кармана пиджака журнал на французском, – тут помечено, что надо срочно перевести. Дело не только совершенно секретно, но сверхсрочно. Послезавтра зайду. И вообще буду часто заходить. Тебя у нас очень уважают. Привет.

Исчез, как и возник.

Внутри журнала была вложена газета «Франс Суар». Материалов для перевода было довольно много, но, главное, они были на одну тему. О росте напряжения на Ближнем Востоке рассказывали корреспонденты из Каира, Дамаска и Тель-Авива.

Не ловушка ли это: ему, еврею, отказавшемуся подписать документ о сотрудничестве, так вот запросто дали переводить информацию, о которой даже не догадывались сидящие в соседних клетушках бумагомаратели, тем более массы, прущие по улицам в поте лица: зной после обеда становился невыносимым.

Израиль, как игла, вошел в сердце

В клетушке было прохладно, но то, что он читал, обдавало то жаром, то морозом. Впервые в жизни напрямую подкатывало к сердцу ощущение растворенной буквально в воздухе гибели, нет, не его личной, а гибели народа, к которому он привязан, оказывается, скрытой, на всю жизнь не отсекаемой пуповиной.

В одиннадцатилетнем возрасте по желанию мамы старенький ребе учил его древнееврейскому, главным образом, кадишу, который он должен был читать в день поминовения отца в синагоге, молитвам в еврейский Новый год – Рош Ашана – и в Судный день – Йом Акипурим. Двадцать лет прошло с тех пор, все это отошло, подернулось дымкой.

И вот, не веря глазам своим, он читает явно не симпатизирующих евреям французских корреспондентов. Каирский прямо выпевает слова Гамалея Насера, собирающегося сбросить евреев в море. Тель-Авивский явно посмеивается над евреями в черных шляпах, с пейсами, в капотах, которые вымеряют городские парки на случай массовых захоронений, и просто веселится по поводу того, что еврейские матери, услышав приказ короля Хусейна не щадить ни женщин, ни детей в случае войны, покупают яд.

Ощущение было, что на евреев надвигается вторая Катастрофа, и многие из них уже смирились с этой мыслью. Ведь какой страшной была первая, унесшая шесть миллионов, но, вот же, проглотили и это. Царило какое-то запредельное крокодилье равнодушие. И слезы были крокодильи.

Израиль, все эти годы видевшийся ему как обратная стороны луны, как дуновение лермонтовской строки «Скажи мне, ветка Палестины...», внезапно, как игла, вошел в сердце.

Орман рылся в энциклопедиях, искал все об Израиле.

Орман перестал спать. Кусок не лез в горло.

Особенно угнетало, что он должен был слово в слово переводить ненавистный ему материал для этих негодяев, вооруживших арабов и втайне ожидающих уничтожения Израиля.

Это уже могло показаться паранойей, но на следующее утро в газетах появилось заявление Советского правительства: Израиль своим поведением сам поставил на карту свое существование. Впервые в истории великая держава СССР откровенно умывала руки в случае уничтожения Израиля.

Орман, как одержимый, перебирал радиостанции, слушал Париж и Лондон.

В ночь на пятое июня, совсем вымотавшись, вздремнул к утру, но тут же вскочил со сна.

Дом был пуст.

Жена увела сына в детский сад и ушла на работу.

Орман не находил себе места: я тут в тепле и покое, а там, быть может, в эти минуты, гибнет мой народ. В памяти его, возвращенной насквозь циничным миром, впервые, как истинная сердцевина его существования, соединились эти два слова – «мой народ».

Включил Москву и замер.

Согласно египетскому информационному агентству МЕН Израиль напал на Египет и Сирию, которые отразили атаку, и теперь успешно ведут наступление. Египетские танки уже в Тель-Авиве.

Ком подкатил к горлу. Не продохнуть.

Включил Париж, перевел на Лондон. Война на Ближнем Востоке. Ждите сообщений. Ждите сообщений. Breaking News. Возьми себя в руки. Который час? Одиннадцатый.

Слушал, остолбенеv, не веря своим ушам: Военно-воздушные силы Израиля в течение считанных часов уничтожили авиацию Египта, Сирии, Иордании и Ирака. ВВС Израиля полностью господствуют в воздухе. В Синае идут ожесточенные танковые бои.

Так и сидел недвижно, опустошенный, как человек, переживший ожесточенную бомбежку, артиллерийский обстрел, засыпанный землей, с трудом выбравшийся наружу, глотающий свежий воздух и понимающий, что теперь ему жить долго. Все западные радиостанции внезапно возлюбили Израиль. Случившееся было – как удар в солнечное сплетение миру. А Советам – еще и по карману и престижу советского оружия.

Орман, как больной после долгого лежания в постели, с трудом поднялся с дивана, вышел на балкон.

И тут уж совсем неожиданно с балкона соседнего дома, где проживал – Орман это знал точно – русский человек, раздался голос из вынесенного приемника, да так громко, на всю округу: «Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля». Передаем последние известия. Сегодня ВВС Израиля уничтожили авиацию Египта, Сирии, Ирака и Иордании...»

Орман вернулся в комнату. Руки его дрожали, слезы произвольно текли из глаз. Он уже знал: этот день расколол двадцатое столетие. Он еще знал: в этот день евреи во всем мире ощутили свое давно забытое и забитое достоинство.

«На следующий день, 5 июня, в семь сорок пять...»

Теперь Орман переводил с удовольствием приносимые Васей материалы. Каково им читать, что их миллиарды провалились в черную дыру. Израиль в качестве трофеев взял тысячи новеньких, как с конвейера, машин, сотни танков и орудий, с которых даже не был снят брезент.

В редакции потрясенно взирали на карту, на длинные названия в арабском пространстве: «Объединенная Арабская республика Египет», «Саудовская Аравия», «Королевство Иордания», «Объединенные арабские эмираты». И где-то, на самом краешке, полоска, на которой с трудом умещалось петитом семь букв – «Израиль». Выходит, маленькая точка, да вулканическая. Но самое невероятное было в том, что евреи внезапно себя ужасно зауважали.

Стиль французских журналистов был очень домашним, и это особенно подкупало.

...Поздним вечером начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Ицхак Рабин вышел из своего кабинета в Тель-Авиве и поехал домой в Цахалу. Был очень возбужден, беспрерывно курил, но ничто не предвещало драматического развития событий.

Однако, на следующий день, 5 июня, в семь часов сорок пять минут утра, все 196 боевых самолетов ВВС Израиля, звеньями по четыре, выключив радиосвязь, вылетели на бреющем полете в сторону Средиземного моря. В определенной точке они поворачивали на юг и влетали в Нильскую долину, чтобы в одну и ту же секунду (именно так, по секундомеру) появиться над девятью египетскими аэродромами. Десятый, Бани-Суэф, около Файюма, был далек. Атака на него была отлажена, но отложена.

Совсем обнаглевший Орман, переводивший материал прямо в кабинете, на миг перестал стучать на машинке, довольный найденной им игрой слов, подтянулся до хруста, прислушался к внезапному хохоту за стеной.

Просто потрясало, как феномен Шестидневной войны, ворвавшийся, подобно летающей тарелке, в это скованное привычным страхом пространство огромной страны, был воспринят, как молния и гром среди ясного неба, внеся волну озона в не просто спертый, а уже слежавшийся воздух, высветил лица, развязал языки.

Орман прислушался. Ну да, еврейские анекдоты, как все считали, сочиняемые самими евреями, резко изменили тон.

– Вот вам и устав израильской армии, – это голос Попова, как-никак заведующего отделом партийной жизни, – помните: во избежание лишних ранений прекратить разговоры в окопах; категорически запретить солдатам давать советы офицерам... во время атаки; каждому рядовому иметь общее мнение хотя бы с главнокомандующим.

Не хохот, а просто рев.

Самое удивительное, что Ормана не зовут. Вот уж какая-то необъяснимая деликатность со стороны коллег. Быть может, кто-либо из них видел Васю, знает кто он такой? Орман насто- рожился.

– Насер просит внука: «Испугай меня!» Внучек закрывает ладонью один глаз: «Бу-у-у», – это явно голос Тифоя, ответственного секретаря, не умеющего рассказывать анекдоты, и потому дающего объяснение: «Поняли? Имеется в виду Моше Даян».

Это вызывает еще более сильный взрыв хохота.

Голос Витюка из отдела быта, большого любителя евреев:

– Сидит мужик в вырезвители. Сосед спрашивает: за что? – Да, понимаешь, встаю утром, слышу – евреи напали на наших братьев арабов. По дороге на работу зашел в забегаловку выпить сто грамм, слышу, они уже на Суэцком канале, захожу на работу – они уже здесь. Ну, я и дал одному в морду».

– Ха-ха, – смех какой-то неуверенный.

Опять хохол Витюк – неутомимый антисемит, хронический выпивоха, выкрикивает найденный евреем Орманом каламбур:

– Литрабы – поллитра бы!

– Ребята, – удивленный и несколько испуганный голос художника Румянцева, – а ведь все эти побитые самолеты – наши «МИГи».

– Ну, Румянцев, выдал. Так вот, заставь дурака молиться, он и лоб расшибет.

Не разобрать: слишком тихий голос.

Разговор принимает опасный оборот. Орман даже прикрывает газетой французский текст, оставляя открытыми лишь несколько строк.

...Самолеты шли на бреющем полете, ниже действия всех радиолокационных систем – арабских, американских, советских.

Крестьяне-феллахи машут им руками, уверенные, что это самолеты Египта.

Египетские офицеры-летчики сидят в кафе на обочине огромного центрального аэродрома, и вдруг замирают с открытыми ртами: командная башня на противоположном краю взлетного поля беззвучно рассыпается у них на глазах. Лишь последующий рев пронесшихся израильских самолетов выводит их из почти обморочного состояния.

Четверка заходит за четверкой, удары следуют через каждые семь – десять минут. Четыре аэродрома в Синае, три на Суэцком канале, два у Каира – всего девять – захвачены врасплох.

Объяснения израильского командования.

Эту фразу Орман с удовольствием печатает большими буквами, как и в оригинале. Очевидно, запись с пресс-конференции.

...Мы изначально решили не начинать атаку с восходом или заходом солнца, что является обычным для таких операций. 7.45 по израильскому – 8.45 по египетскому были выбраны, чтобы ввести противника в заблуждение и достичь полнейшей внезапности. Противник думает: мы готовились отразить атаку израильтян с восходом солнца, а ее и вовсе нет. У противника крепнет ощущение, что теперь уже атаки не будет до следующего дня, как и не было до сих пор. Египет впадает в новый приступ чванства, шлет на весь мир трубные звуки войны, а Израиль сжимается от страха и тоже шлет на весь мир – сигналы о помощи.

Для того, чтобы еще больше углубить эту иллюзию будничности, мы в то утро, до атаки, подняли учебные «Фуги» для обычных маневров. Пока египтяне забавлялись иллюзиями и благословляли Аллаха за слабость Израиля и рухнувший миф об его воинственности, наши Военно-воздушные силы превратили египетские в один огромный пылающий факел. Без полнейшей внезапности и филигранной точности каждого выверенного мгновения нельзя было достичь такого ошеломляющего успеха в такой короткий срок.

Все рассказы, распространяемые мировой прессой о каких-то новейших видах оружия, использованных нашими ВВС – несомненно, одна большая и невероятная глупость. Впечатление от победы столь огромно, что просто напрашивается какое-то необычное объяснение, приподымающее завесу мистики над этим поистине фантастическим успехом. Газеты пекут вкусные булки, и массы, и в Израиле и за его пределами, хватают их на лету: специальные бомбы и всяческие выдумки еврейского гения.

Правда же, на самом деле, проста. И в этом, вероятно, ее сила. Речь идет о простой авиационной пушке, которую восемь лет назад французы посчитали абсолютно лишней и заменили ее ракетами воздух-воздух и воздух-земля. Эта пушка, из которой израильские пилоты научились стрелять с небольшой высоты с невероятно отработанной точностью, и была нашим оружием. До такой степени все просто, что даже как-то жаль разбивать сияющие мифы о каком-то гениальном оружии...

В кабинет вошел Тифой.

– Что ты тут притаился, как мышь. Ребята все пошли выпить к Борису в забегаловку.

– По какому поводу?

– Ну, день солнечный.

– А ты чего не пошел?

– Ты же знаешь, как всегда горит номер.

– Вот я и корплю над статьей о художнице Аде Зевинной. Через пару часиков принесу.

Статья уже давно была готова.

– Слышь, что это они в материалах ТАСС пишут – «Цахал»?

- Так это аббревиатура на иврите «Цва Хагана Ле Исраэль» – «Армия обороны Израиля».
- Вот оно как? А ты что, знаешь этот, ну, древнееврейский?
- Друг Тифой, эту аббревиатуру сегодня должен знать любой цивилизованный человек.
- Ты прав, – сказал Тифой и быстро ретировался из кабинета.

Молния и гром среди ясного неба

И вправду распирающие Ормана чувства требовали прерваться и выйти немного на солнышко. Бумаги положил на дно ящика, под газеты, а ящик запер.

На гулянье не было много времени. К шести должен был явиться сексот Вася за переводом. Но именно малость времени давала возможность наслаждаться каждой минутой.

Эти французские коллеги, – думал Орман, – с плохо скрываемой гордостью дают понять, что французские «Миражи» победили русские «МИГи». Конечно, руками израильских летчиков, но оружие-то французское. С какой иронией, а то и просто смехом пишут они о том, как израильская разведка перехватила разговор Насера с королем Хусейном, где они улавливались дать мировой прессе фальшивую информацию: якобы всю операцию провели французские и американские летчики.

Мягко светило солнце. Дыша всей грудью, оглядываясь на каждую проходящую девицу, Орман свернул в переулок, чтобы не попасться на пути ватаге коллег, уже выкатывающейся из забегаловки Бориса.

Еще несколько шагов, и перед ним раскрылось вдаль и вширь пространство над озером. Всего лишь ряд зданий отделял это пространство от шумной улицы, но тут царил абсолютный покой. Рядом со сбегавшей вниз тропой, парни в одних плавках красили прогулочные лодки, перевернутые кверху брюхом, как выбросившиеся на берег киты.

Орман присел на скамью, недалеко от ротонды. Воды фонтана сбегали по каменным порогам вниз.

С успокаивающим шумом вод словно бы соревновалась одинокая птичья трель, сама подобная родничку, пробивающемуся в отягченную то ли радостью, то ли печалью душу.

И вдруг, как внезапный налет израильской авиации, небо мгновенно потемнело, неизвестно откуда накатили тучи, сверкнула молния, грянул гром. Орман бежал к ротонде, уже весь вымокший, ибо невозможно соревноваться с грозой в догонялки.

Гроза в один миг смяла все погруженное в сладкую дремоту пространство.

Стоя под слабо охраняющей от струй аркой ротонды, Орман всеми фибрами души ощутил высшее напряжение мгновенно протянутой между небом и землей грозы – мимолетного божества природы, хлещущего во все концы, сотрясающего пространство преизбыточным разрядом энергии, чтобы через несколько минут, младенчески пузырясь, в блаженной расслабленности растечься по земле.

Какие-то странные стоны, уханья далее, еще более помолодевшие голоса перекликающихся парней-маляров словно обнажили на миг трепетную душу в человеке, как ливень, обдав волной, вылепляет в ворохе одежды чудо девичьего тела.

В редакции царили невероятный шум и возбуждение. Носилась шутка: гроза гораздо лучшее отрезвляющее средство, чем огуречный рассол. Все промокли, все сушились. Девушечки-машинистки готовили всем горячий чай, и никогда раньше не был он таким ароматным.

Орман зашел к себе в клетушку, запер дверь, разделся до трусов, развесил одежду, и стал стучать на машинке. В запертую дверь рвались не совсем отрезвевшие коллеги.

– Орман, кончай гореть на работе.

– Номер горит. А я – человек ответственный, – отвечал Орман, веселясь по поводу того, как вытянулись бы физиономии коллег, прочти они хотя бы несколько выстукиваемых им абзацев.

...Самолеты, летевшие столь низко, чтобы не быть обнаруженными радарными противника, сжигали гораздо больше горючего, чем при обычных полетах. Из-за дальности расстояний самолеты не могли брать много бомб. Вообще бомбы – не столь эффективное оружие для уничтожения самолетов на земле. Точно бьющий пулемет и пушка гораздо более успешны в этом деле. Небольшой запас бомб, который несли наши самолеты, предназначен был только для уничтожения взлетных полос на короткое время, ибо исправить их не составляет особого труда. Цель была нейтрализовать взлет самолета противника на тот короткий – в семь-десять минут – перерыв, до появления следующей четверки наших самолетов, чтобы расстрелять египетские машины на земле.

Простота победила в этой войне: часы, как средство ориентирования во времени, старый добрый компас, обычная пушка и, главное, невероятная дисциплина в умении и точности взлета, присоединения к четверке, в стелющемся над водами и землей полете.

...В пятом-шестом часу была решена судьба иорданских ВВС. Сирийские уже были на грани уничтожения.

Таким образом, в полдень первого дня войны была уничтожена боевая авиация Египта, Сирии, Иордании и Ирака.

Свершилось то, что мы готовили столько времени и были потрясены делами рук наших не намного меньше, чем весь потрясенный мир.

Орман перечитал все напечатанное, удивляясь, что нет ни одной ошибки. Очевидно, невероятное душевное слияние с каждым словом перевода четко и однозначно вело пальцы по клавишам букв, словно человек, подобно пианисту знал партию наизусть.

«Удивительны дела Твои, Господи», – неожиданно пришли слова из псалмов Давида.

Раздался стук в дверь. Пришлось повернуть ключ. Вошедший Вася был удивлен: ты что, только из бассейна?

– Промок до нитки под ливнем. Вот бумаги. Вася, у меня вопрос. Не боишься ли, что коллеги в редакции могут догадаться, кто ты?

– Мы им быстро заткнем рот, – по-хозяйски решительно отрубил Вася.

– Да, но мне каково будет?

– Не боись.

Вася исчезал профессионально быстро. Вот, стоял, и вот, его нет. Словно растворился на месте, как в научно-фантастических фильмах.

Орман облачился во все еще влажные брюки и рубаху.

Опять возник Тифой с газетной полосой в руке.

– Слушай, будь другом, вычитай. Все под мухой, не на кого положиться. Ты один – трезвый.

Статья была официальной, клеймящей империалистическую агрессию Израиля против семьи арабских народов.

Достойное завершение дня, подумал Орман.

Через неделю позвонил главный редактор заговорщическим тоном:

– Зайди ко мне.

Оглянувшись на всякий случай, не блещут ли чьи-то глаза из-за портьеры, он извлек из портфеля журнальчик:

– Вот, «белый ТАСС». Дали нам на несколько часов. Сам знаешь, кто. Ознакомься и вернуть. Иди к себе, запри дверь, прочти и немедленно верни. Я знаю, ты ведь читаешь быстро.

Орман знал, есть еще «голубой ТАСС», как говорится в песне Галича, – «для высокого начальства, для особенных людей». «Белый» же – для людишек пониже и пожиже.

Сидит Орман, усмехается, читает в «белом ТАССе» собственные никем, естественно, не подписанные переводы.

Жизнь в двух уровнях

В минуты прочного, как бы отцеженного одиночества, осознаваемого, как истинное состояние души, Орман видел себя человеком с картинки, который дополз до края небесной сферы, пробил ее головой, и потрясенно озирает занебесье с его колесами, кругами планет, – всю эту материю, подобную рядну, где ряды напоминают вздыбившуюся шерсть на ткацком станке Вселенной.

Но потрясала наша земная сторона со средневековым спокойствием звезд, закатывающимся детским солнцем над уютно свернувшимся в складках холмов и зелени полей городком.

Орман ли, иной, человек-странник – всю жизнь шел, полз, чтобы, наконец, добраться до этой сферы, а жители городка обитают рядом и не знают, да их и не интересует, что тут, буквально за стеной их дома, – огромный мир Вселенной. Их не то, что не тянет, их пугает заглянуть за предел, прорвать сферу, прервать филистерский сон золотого прозябания. Вот они, два полюса отцовского восклицания «*Se la vie*» – «Такова жизнь» – так удивительно сошедшиеся на околице затерянного в земных складках городка.

В эти дни Орман, подобно тому страннику, пришедшему в городок, как бы жил сразу в двух уровнях, и оба были виртуальны, но более реальны, чем обычное течение жизни с ранним вставанием, чтобы успеть в очередь за молоком, опостылевшим выстукиванием статей, требующих почти нулевого напряжения интеллекта. Симуляция деятельности выражалась в перебирании никому не нужных бумаг, или бессмысленном взгляде в какую-либо точку в кабинете, означавшем для окружающих глубокое размышление.

Два этих уровня существования находились как бы один под другим. В верхнем уровне переводы с немецкой и французской прессы о событиях в Израиле постепенно оборачивались его каждодневной жизнью.

Вторым, более глубоким уровнем было проживание в парадоксах Ницше и тяжеловесной тевтонской непререкаемости Хайдеггера, в тайном упрямом сочинении стихов, явно не для печати.

В редкие минуты какого-то сюрреального отрезвления Орман ощущал лишь одно: страх за своих близких.

Странно было то, что два этих напрочь противоположных судьбе Ормана имени, ощущались им, как две связанные бечевой доски, два поплавка, держащие его на поверхности: Хайдеггер-Ницше, Ницше-Хайдеггер.

В зыбком уюте светового круга настольной лампы лежали эти небольшие две книжечки, тайно, «в стол», комментируемые Орманом далеко за полночь. Туда же ложились стихи.

Беспомощно счастливое дыхание жены и сына, спящих рядом, вместе со световым кругом составляли некую светящуюся, достаточно прочную сферу, охраняющую душу от обступяющей тьмы ночи, затаенной и непредсказуемой, одушевляемой лишь пением цикад.

«Генеалогия морали» Фридриха Ницше в переводе на русский язык была ветхой, дореволюционной. К ней применимы были слова Фета, обращенные к Тютчеву: «вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей».

Не то, что достать, – увидеть эту книжечку, переплетенную множество раз, в те дни представлялось Орману невозможным.

Но вот же, один из фотографов, поставивших в газету материал, худой и кудрявый, как сморчок, с крючковатым носом, Друшнер, вечно несущийся как бы одним боком, что, казалось, еще шаг, и он упадет, уронил в кабинете Ормана свою явно неподъемную по весу сумку, и оттуда просыпались бумаги, фото, книжки.

Мелькнуло – «Фридрих Ницше. Генеалогия морали».

По поводу худобы и надоедливой суетливости Друшнера шутили, что его «надоедание – от недоедания». В Друшнере подозревали осведомителя и потому всегда встречали его одним и тем же анекдотом:

– Друшнер, знаешь, в КГБ покрасили двери.

– Ну?!

– Следует стучать по телефону.

– Ха-ха-ха.

Друшнер от всей души смеялся, как будто слышал это в первый раз.

Тут он и вовсе скрючился, и стал собирать с пола рассыпавшиеся вещи. У Ормана застучало в висках, и он слабым голосом – была – не была – пролепетал:

– Можно мне посмотреть... Ницше?

– Да берите ее. Читайте. Потом вернете.

Это могло быть провокацией, но устоять было невозможно.

Имя же Хайдеггера было как некая эстафетная палочка, переданная ему отцом в тех бумагах, спрятанных за внутренним карнизом буфета. Странно было, что, проживая вот уже тридцать третий год жизни, в возрасте Иисуса, на этой земле, Орман узнал имя Хайдеггера лишь из записей отца.

Был ли это знак свыше?

Или действовал его величество Случай?

Во всяком случае, это пахло мистикой.

В самом деле, каким образом в завалы книг на немецком и французском, у старичка букиниста, в которых нередко рылся Орман, попала совсем недавно вышедшая в Германии книжечка – извлечение из двухтомника Мартина Хайдеггера, лекционный курс, прочитанный герром профессором в 1940 году в дышащей покоем и усиленным вниманием аудитории, за стенами которой уже вовсю гремела Вторая мировая война – детище фюрера, которого герр профессор благословил на великие дела во имя немецкой нации.

Книжка была издана в 1967, совсем недавно, и называлась «M.Heidegger. Nietzsche». Словно некто кинул зерно на бесплодную землю в уверенности, что кто-то подберет проклюнувшийся росток.

В оригинале, на немецком, книжка эта была подобна свету далекого астероида, притягивающего любопытство и угрожающего гибелью. По ссылкам понятно было, что за нею таится фундаментальный труд – «Бытие и Время».

Средь бела дня была молодость, преодолевающая страхи и печали.

Кружила голову солнечная молочность весенней полноты проживания.

Размышления же Хайдеггера погружали среди всего этого в то ли губительные, то ли спасительные глубины души, где в одиночестве плачет человек, опять же, по выражению Фета, «как первый иудей на рубеже земли обетованной».

Спасительным был этот текст именно по своей абсолютной непонятности «критикам в штатском», даже если бы Орман дословно его перевел на русский.

Это по-настоящему веселило Ормана, это злорадно воспринималось им как метафизическая месть за собственную беспомощность, неумение и подспудный страх отказать в услугах перевода этим таящимся во всех щелях мастерам заплочных дел.

Он понимал, что они следят за каждым его шагом, ибо Вася возникал всегда без звонка по телефону именно тогда, когда Орман был в редакции, хотя мог быть где-то по редакционному заданию. Кто-то из коллег сообщал куда надо о наличии Ормана на месте.

Обычно тех, кто отказывается подписывать обязательство о сотрудничестве, оставляют на значительное время в покое, чтобы затем осторожно возобновить попытки. Тут же для них был счастливый случай: они могли использовать Ормана на полную катушку, ибо профессиональные переводы были им нужны позарез. Всякие намеки на оплату переводов он отметал

немедленно. Не хватало еще получать от них тридцать сребреников, что было бы полным падением.

Вероятнее всего, переводчиков у них было раз-два – и обчелся. А, может быть, он был единственным. Потому они ему многое простили. Например, тот факт, что он рассказывал в редакции явно антисоветские анекдоты, предварительно нагибаясь к розетке с дежурной фразой: «Это не я, товарищ майор. Вопрос армянскому радио: какая разница между бедой и катастрофой? Ответ: если на улице опрокидывается телега продавца продуктами, это – беда, но не катастрофа. Если же разбивается самолет с нашим правительством, это – катастрофа, но не беда».

Витюк из отдела быта, страдающий тяжелой шпиономанией, особенно после очередных ста грамм, понизив голос, начинал рассказывать всяческие небылицы. Орман тут как тут с анекдотом: «В туалет зашел мистер Смит, вынул левый глаз и стал разматывать фотопленку. В это время из унитаза на него взглянули мудрые, слегка усталые, глаза майора Пронина, и он сказал: «Не пытайтесь бежать, мистер Смит, в бачке тоже мои люди».

Сотрудники, естественно, газетные, катались по полу.

Было ли это сладким издевательством души над собственным страхом, отчаявшимся сопротивлением, которое может привести к нервному срыву, – явлением будничным там, где все диктуется палачеством, выпрэнно и лживо называемым диктатурой пролетариата?

Оказалось, что и другие сотрудники хохотали над этим анекдотом, о чем сообщил ему Вася, с которым они по давнишней просьбе Ормана стали встречаться у ротонды над озером.

– А знаешь, полковнику Лыкову понравился твой анекдот с мистером Смитом.

– Скажи, Вася, вы прослушиваете нас или вам постукивают?

– Какое это имеет значение. Стены, дорогой, имеют уши – сказал Вася, этак, по-братски коснувшись плеча Ормана, от чего последнего передернуло, и он внезапно увидел при свете дня, а не в полутемном своем кабинете, насколько агрессивно выпячена нижняя Васина челюсть и тяжела рука. Таким кулаком гвозди можно забивать. Бедный поэт Николай Тихонов, знал бы он о ком его, припоминаемые наобум Орманом, строки: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».

Орман опечалился: вот он им уже «дорогой».

– Зачем же тебе, Вася получать сведения из нечистых рук. Вот, пожалуйста, анекдот прямо для твоего шефа. Сидят четверо командировочных в какой-то заброшенной провинциальной гостинице, ну, естественно, несут антисоветчину про ветчину, которой нет в буфете. Один из них говорит: «А вы не боитесь, что вас подслушивают?» «Да брось ты, в такой глуши». Он выходит и говорит коридорной: «Ровно через пять минут занесите четыре чашки кофе». Возвращается и обращается к потолку: «Принесите, пожалуйста, четыре чашки кофе». Коридорная вносит. Все трое потрясены и разбегаются по номерам. Шутник встает утром, а трех уже забрали. «Почему же меня оставили?» – спрашивает он у коридорной. «А шефу очень понравилась ваша шутка с кофе».

Вася хохочет: обязательно расскажу начальству. Из путанных реплик Васи выясняется, что орманские переводы проверялись под лупой «высокими специалистами» и была отмечена их «ювелирная» точность. Слово «ювелирная» проворачивалось Васей с крестьянской натугой, потому и запомнилось. Эта свора поигрывает с ним, наперед зная все его хитрости и насмешливо удивляясь его живучести.

То были дни, когда случайный знакомый при встрече вместо приветствия вопрошал: «Пора?» На что Орман отвечал столь же кратко: «Несомненно».

Если же случайный знакомый спрашивал: «Учишь иврит?» – это означало, что он вовсе не случаен.

Орман сдержанно отвечал:

– А я знаю его с детства. Мама хотела, чтобы я читал поминальную молитву по отцу.

Мысль о том, что он, быть может, единственный переводчик в их системе, изводила Ормана. Допуском они связали его, приковали, как раба цепью с гирей на конце. Если настанет день, когда он подаст документы на выезд, они попытаются его этим шантажировать, а то и завербовать. Он откажется. И тогда уж они поизмываются над ним всласть.

Он тешил себя мыслью о том, что благодаря переводам лучше всех окружающих знает о положении в Израиле. Стране, которая стала его наваждением, воистину внутренней изматывающей вестью «земли обетованной». Он радовался успехам этой крошечной страны, всегда возглавляющей список новостей по всему миру, скорбел по поводу ее потерь. Он видел пропасть между израильской реальностью, также, и тем, что лгали напропалую газеты и радио.

Но он не мог ни с кем поделиться этим знанием, кроме своей жены, и в этом-то и было, в дополнение ко всему прочему, нечто предательское и нечистое.

Он погружался в Хайдеггера, как инопланетянин, принявший облик земного существа, как некий вариант человека– невидимки, живущего единственной надеждой когда-нибудь стать видимым, то есть самим собой.

В каком-то исследовании ангажированного философа он нашел имя Хайдеггера, которое автор явно ассоциировал с самым распространенным трехбуквенным ругательством.

Орману была любопытна и мучительна искренняя наивность отца, загнанного, как и все интеллектуалы довоенного мира, в слепую кишку истории, и не распознавшего именно в разглагольствованиях Ницше и Хайдеггера приближающуюся катастрофу. Она поглотила поколение отца, поставила весь мир на грань полного уничтожения, и самого его догнала, как долго летящая пуля в каком-то ничтожном подъезде.

В некий миг все это выстроилось, как во сне.

Слабый, но острый, как игла, луч пронизал клубящийся хаос.

Орман вскочил со сна, явно поняв, что вся европейская, а, по сути, главным образом, немецкая классическая философия, начиная с Канта, вела его народ в эту пропасть середины двадцатого века.

Этой теме можно было посвятить всю жизнь.

Он даже начертал на листке черновое название будущей книги, посвященной разработке этой темы.

Если будет жив.

«Эллиптическое и Апокалиптическое».

Эллипс удобно обтекаем, но замкнут, как тюремная камера.

Апокалипсис – на разрыв: пророчит конец времен, напрягает Историю, заставляя ее балансировать над пропастью и, тем самым, взывая к ценностям жизни, как правды и справедливости, что, по сути, и есть изобретение еврейского духа: ожидание Мессии.

Лицо и безликость

Единая теория духовного поля казалась ему спасением.

Она должна была быть стержнем будущей книги.

Мерещилось смешение полей рассуждений с полями текста, полями истории и философии, полями идеологии, самыми неустойчивыми и губительными. Особенно влекли к себе поля черновиков, обочины текста.

Ассоциативные нити, как меридианы и параллели, стягивали эти текстовые поля, обращая их плоский раскат в четырехмерное пространство, напрягая подтекстами сейсмических подвижек, а то и внезапных разломов.

И все это сотрясало, но и спасало Ормана, живущего в атмосфере затхлости и застоя да еще с вечной виной зависимости от «костоправов», как он называл своих работодателей в штатском, которых вдруг очень заинтересовали материалы о бунте студентов в Париже.

Благодаря допуску Орман часто посещал «спецхран» Библиотечного фонда, в котором раньше работал, чтобы не столько переводить материалы о парижских беспорядках, сколько быть в курсе входившей на Западе в моду постмодернистской философии. Это были, главным образом, журналы и книги, выходящие в Париже.

Ощущение было, что Шестидневная война словно бы выбила застарелые пробки из ушей, явно слышалась поступь пришедшей в себя после длительного обморока Истории, ее судьбоносное шествие, восстанавливающее справедливость в империи лжи.

Впервые на хорошей французской бумаге пред очами Ормана обозначились имена почти его сверстников из нового поколения мыслителей – Мишеля Фуко и Жака Деррида.

При возникновении слова «поле», озноб пробирал Ормана.

У Мишеля Фуко с его ставшей позднее откровением книгой «История безумия», это были «внутренние полемические поля».

Реальность, окружавшая Ормана, удивительно укладывалась в открытые Фуко общественные законы безумия.

Разве не было абсолютнейшим безумием вбивать в миллионы голов лживый и серый текст «Краткого курса» или марксистско-ленинского учения, в желании поднять их на уровень авторитета бессмертного Священного Писания?

Орман узнал, что в Европе считают величайшим философом современности Эммануила Левинаса, родившегося в тот же год, что и отец Ормана, который вынужден был покинуть Румынию, чтобы учиться во Франции. Левинас в то же время вовремя покинул Литву и учился на философском факультете Страсбургского университета.

Можно ли представить, что творилось в душе Ормана, когда он при мягком свете зеленого абажура, в укромно затаившемся, посреди идеологического пространства победившей диктатуры пролетариата, зале спецхрана, читал толкуемые Левинасом тексты Талмуда, впитывал слова философа о том, что война это борьба человеческого лица с безликостью.

А ведь истинно, думал Орман, убийца безлик, и потому для него невыносимо смотреть в лицо жертве. Он и завязывает ей глаза. Или стреляет в затылок. Только бы не видеть Лица.

Вот и сексот Вася абсолютно безлик.

Известно, что «органы» отличаются особой способностью отбирать безликих, но чтобы до такой степени...

Обычно, после расставания с кем-то, у чувствительного Ормана в ноздрях оставался от ушедшего запах. Вася же исчезает начисто вместе со всеми своими запахами. К нему даже нельзя применить насилие, ибо, по Левинасу, «насилие может быть нацелено только на Лицо».

Пытаясь отвлечься и успокоиться, Орман тут же, на конспекте, выписывал ручкой вензеля.

Брал, к примеру, слово «прав» и поигрывал им.

Раз сто прав костоправ.

Выправить права.

На право нет управы.

А сознание точила мысль, пробужденная Левинасом, о том, что любая тирания самой своей сутью ненавидит еврейство, чувствуя в нем ту слабую воду, которая просачивается, несмотря на запруды.

Именно эта вода точит камень.

Когда очередной случайный знакомый спросил, учит ли он иврит, Орман внезапно как бы пробудился: ведь это его преимущество – знание иврита, бесценное – для идеи единого духовного поля, и следует это его углубить.

Орман отыскал маленький, пожелтевший от времени свиток Торы, который бабушка пронесла привязанным к груди всю свою девяностолетнюю жизнь до последнего дня, через

погромы и войны. Сняв «рубашку», заново сшитую Торе бабушкой почти перед смертью, Орман разворачивал свиток, читая текст через лупу.

Демонстративно, назло следящим, отправился в синагогу и выпросил экземпляр Танаха, то есть весь канонический свод еврейского Священного Писания, включающий Тору, Пророков и Летописи.

Теперь его взгляд, уставившийся в одну точку в кабинете, был явно осмысленным. Орман размышлял о том, что в Книге Книг, в этом одновременно замкнутом на себе, и абсолютно разомкнутом всему миру пространстве, возникают свои внутренние законы, толкования, свет затаенной радости, счастливого испуга.

Счастье ведь всегда сопряжено со знанием и болью его мимолетности и исчезновения, с бесконечно свертывающейся – вот уже более двух тысяч лет – тайной.

Тот, кто пытается эту тайную сущность Книги Книг развернуть, как ребенок разворачивает подарок, завернутый во множество свертков, обнаруживает, в конце концов, ничто.

Или срываая, как у розы, веки лепестков, обнаруживает под ними ничей сон – сон Бога.

Или где-то в начале развертывания запутывается, уже не помня, где это начало.

Потерянная изначальность скорее сводит с ума, чем покорно принятая душой и разумом бесконечность.

Над этим ломали головы и на этом ломали головы такие упорные мыслители, как Гегель, но эта головоломка не дает покоя разуму, инстинкту и просто проживанию набегающего днями и ночами времени.

Эта Завеса подобна завесе, расшитой золотом и серебром, за которой хранится Тора в молельном доме евреев. Она выводит из себя, вводит в ярость ум быстродействующий, генетически нахрапистый, гениально улавливающий слепую потную и плотную силу толпы, слитной человеческой массы.

Толпа эта уже самим своим сплочением перешагнула смерть отдельного человека, не столько растаптывая его, сколько вытаптывая из его души остаток человечности, чтобы в полной, урчащей удовлетворением раскованности, наслаждаться когда-то потерянной абсолютной животностью.

Сократ именно потому ничего не писал, а жил лишь в устной речи, чтобы толпа не заворачивала в его рукописи селедку.

Куда же деть нашего каббалиста рава Ицхака Лурия – великого АРИ – Адонейну Рабби Ицхака, фрагменты текстов которого попались книжному фанатику Орману?

Ведь АРИ тоже не записывал свои гениальные постулаты. Быть может, он просто существовал внутри Книги Книг, толкуя ее по-своему, но боясь соревноваться с текстом Бога. Он только говорил, передавая свою ответственность, равносильную казни, ученикам – записывать его.

Есть такой экзистенциальный страх на тех глубинах, которых достиг АРИ и на которых в трепете собственного существования видишь соревнование с Божественным текстом, как не прощаемый грех. Ученик такой ответственности не несет, ибо автоматически записывает Учителя, и ему, ученику, закрыты смертельные глубины лурианских идей сотворения Мира.

Быть может, думал Орман, и я такой прилежный ученик или притворяющийся им, чтобы приподнять Завесу.

Ближе собственной сонной жилы

Кураторов Васи теперь весьма интересовало, что пишут французы и немцы о происходящем в Чехословакии.

Орман засиживался допоздна под зеленой лампой, веселясь карикатурам в неожиданно ставшей вольной чехословацкой прессе. Вот, указующий в будущее палец, перевязанный бин-

том. Вот, стоящий на трибуне, лишенный индивидуальности тип толкает речь: мы никому не позволим руководить нацией... кроме нас.

В таком покое, думал Орман, зреют семена будущих потрясений, но какое он имеет к этому отношение, прилежно переводя палачам все это, чреватое начатками истинной свободы?

Опять накатило омерзение к себе, стало трудно дышать от собственного ничтожества. У него уже бывали такие приступы.

Тошнотой прорывалось словоблудие в статьях, которое, кажется, уже обернулось второй его натурой.

Когда он успел так опуститься, выпестовав в себе ставшее хроническим неумение защищать своих друзей, когда они его об этом не просили?

Надо было срочно бежать домой, ощутить прикосновение жены. Она узнавала его состояние по непривычно повышенной бодрости и остекленевшему взгляду.

Ночью он в ужасе проснулся с почти смертельным ощущением того, насколько разрушительно действует на него эта зависимость от вежливых костоправов. К горлу подкатывало отвращение к себе, ко всем философским изысканиям, словно бы они были лишь прикрытием этого убегания от самого себя.

Спасением было лишь спящее рядом существо – жена.

Он никогда не называл ее по имени, часто меняя всякие ласкательные словечки, чтобы они не приедались, но лишь взгляд на нее внушал, что он жив и может еще спастись.

Назвать ее по имени означало для него отчужденность, ибо она была ближе ему всяческого имени, ближе собственной его сонной жилы.

Это было воистину единственным чудом в его жизни после отчаянного разрыва с Таней, черного провала – дверей клиники, куда он ворвался за ней, и перед ним обрывались клеенчатые завесы кабинетов. Как обрыв дыхания, он внезапно осознал, что она жертвует их еще не родившимся ребенком, о существовании которого он и не подозревал.

Почти на грани самоубийства, он бежал в командировку в Тбилиси, часами, окаменев, стоял у распахнутого окна гостиничного номера, в нескольких сантиметрах от исчезновения – только перемахнуть подоконник – и ветер с Кавказских гор, прохладный, лермонтовский, шевелил волосы, как шевелил пряди на лбу убитого у подножья Машука поручика. В какой-то миг той черной смоляной ночи, спасением, потусторонней слабостью пронзила Ормана мысль: в Священном Писании, начиная с момента, когда Иаков борется с Ангелом, иудей и Бог стоят на равных, лицом к Лицу, и в этой борьбе высочайшие взлеты человеческого духа пытаются одолеть слепую, по сути, неодолимую силу Судьбы. Это одна из величайших, корневых идей мира. Но по самой своей сущности она трагична и глубоко пронизывает иудейство, и по этому смертельному счету он, Орман, связан с ними и должен платить. И этого не избежать. И все, что с ним произошло и происходит, – лишь начало.

Но чудо есть чудо.

Однажды, опустошенный и равнодушный ко всему, автоматически занимающийся каким-то переводом в читальном зале, он мельком увидел ее. Молнией обозначался этот миг, мелькнувший ореолом светлых волос, зелеными глазами и гибким, отрочески-чудным движением девической руки, посылающей кому-то привет.

Она искала какой-то текст, готовясь к экзаменам, и он вызвался ей помочь.

Их руки нечаянно соприкоснулись, и Орман впервые, после омерзительных дней, когда вообще не хотелось просыпаться по утрам, удивленно подумал о том, что у него все же было безоблачное детство, где дымящиеся от ослепительного солнца тени обещали долгую счастливую жизнь.

Дальше он жил как бы в беспамятстве, время от времени с удивлением обнаруживая ее рядом. Окончательно пришел в себя, увидев и не поверив, что она заглянула в темный опостылевший угол, который он снимал, вытирала пыль даже с каким-то удовольствием. И он

тоже нашел понравившееся ему занятие: ходил за ней, трогал за плечи, чувствуя, как нарастает состояние радостной, до замирания в кончиках пальцев, взвешенности. Она повернулась, и он взял ее лицо в ладони, и они поцеловались, и сели на топчан, именуемый им кроватью, и длилось счастливое безумство, обессиливающая невероятность. Потом вышли на улицу в неожиданно прихлынувшую из ушедшего лета теплынь, под слабо тлеющие звезды, как будто в них дул кто-то, и это странно не вязалось с безветрием.

Стояли, прижавшись к какой-то стене, и губы их набухали и подрагивали от предвкушаемой тайны сближения. И никогда затем, через все годы, не ощущалась с такой силой причастность окружающего мира к этим мгновениям. До того, что темень ночного неба льнула к их сливающимся губам в желании хоть чуть удостоиться того меда прикосновения, сродни пчелам, сосущим цветок. А за краем глаз толклись звезды, стараясь помешать полному слиянию, как это бывает с самыми близкими друзьями и подругами, любовь которых весьма похожа на зависть на грани неприязни.

Спустились к озеру. Над ними склонялись ивы, и в голове его вертелись строчки: «Присядем, любимая, к водам. И в травах пойдет стрекотание бесов лукавых».

У озера, во тьме, почти не видя ее, но ощущая рядом, Орман занудно читал ей стихи:

Тревожное безмолвье звездной ночи,
В сообщничестве с парком и водой,
Приникли ухом к бормотанью строчек,
Что так легки, но могут стать судьбою.

Все было примерено и примирено.

Успокаивала и уравнивала его впавшую в омерзение душу ее красота, ее ровный характер с неожиданными вспышками детского, лишённого всякой логики и потому особенно спасительного для него упрямства.

Это существо не знало компромисса.

Только в миг ее присутствия, объятия или отталкивания возникало чувство, что жизнь не проходит мимо, и тут же исчезало с ее отдалением.

Она была настоящей красавицей – с золотистым цветом волос, тонкими чертами лица, зеленым светом глаз, высоким подъемом ноги. Не двигалась, а плыла. По этой походке он мгновенно узнавал ее издали в любой толпе.

Он не переставал удивляться, как эта вольная, упрямая птица, не терпящая лжи, попала к нему. И что она в нем нашла?

С каждым ее исчезновением ему казалось, что она не вернется, хотя он точно знал, где она – в магазине, на рынке, у подруги, на работе в районной библиотеке.

В родильное отделение, куда он ее отвез, не разрешали зайти.

Через приоткрытую дверь он видит ее похудевшее, совсем девичье лицо, две торчащие косички, опустившийся живот.

– Что такое гидроцефал? – спрашивает она.

Все внутри Ормана обрывается:

– Кто тебе это сказал?

– Слышала, как врач говорил.

– Не волнуйся, ничего особенного...

Мороз отчаянный, индевеют брови, Орман мчится к наблюдавшему за ней врачу.

– Что за чепуха, – врач звонит в отделение, – немедленно вызвать роды. Немедленно.

Когда она вернулась из родильного дома и ночью, прижавшись к его плечу, рассказывала обо всем, что ей пришлось пережить, он понял, насколько она может быть беспомощной, и чуть не задохнулся от любви к ней. Там, говорила она, свет, свет, и во всех углах тревога,

особенно за дверьми. Пройдет нянечка, чуть одну дверь otvorит – за нею вскрик, бормотание, чуть другую – целый вал младенческого плача выкатится, и снова – тишина. О нем она не думала. Все существо ее сосредоточилось на том, кто должен отделиться от нее, он или она, лишь бы здоровенький, потому что кроме того, что начиталась о разных уродцах и калеках, ей казалось, что часто неловко поворачиваясь или упираясь животом в что-либо, могла повредить ребенку ручку или ножку.

Когда начались схватки, она и об этом забыла и только думала: скорее бы, будь что будет. Ее положили на стол. Три женщины в белых халатах несуетливо ходили вокруг. Скорее, молилась она, потому что слышала в палате, что если долго длятся схватки, ребенок может задохнуться. Она кусала губы от боли, но не кричала, боясь, что это будет неприятно женщинам, они будут раздражительны и недостаточно внимательны к ребенку. Боль была везде – в лицах женщин, в каких-то лампах, во всех предметах, она была налита болью. Временами впадала в забытие, но внезапно и ясно увидела, как женщина в белом халате, такая добрая и располагающая к себе, деловито держит за ноги головой вниз маленькое красное тельце. Она закричала: «Почему он не плачет?» Женщина шлепнула малыша по ягодицам, он запищал, и она откинулась легко и безучастно.

Долго отходила боль, и отдых был, как потрясение. Живота не было, значит, снова будет талия: в это не верилось. Принесли его впервые кормить в полночь, и он показался ей таким некрасивым: маленькое, сморщенное, как у старика, личико. Увидела ручку: точно такая же, как и большая, привычная, только очень маленькая, и пальчики тонкие, как соломинки.

Осторожно, удивляясь неизвестно откуда взявшейся кошачьей мягкости и сноровке в себе, взяла его на руки, дала сосок, и он принялся бойко и независимо сосать, втягивать в себя молоко, и в этой независимости особенно остро проступала полнейшая его беспомощность, и волна нежности и горечи, сладкой и неизведанной, прихлынула к ней.

Орман лежал, почти не дыша, в темноте, чувствуя, что все лицо его увлажнено слезами.

Ссорился он с ней нередко, но только для того, чтобы убедить себя, что не совсем уступчив. Иначе ему казалось, что она со временем просто перестанет его терпеть. Потому-то и ссоры были настолько бессмысленными, что в следующий миг уже невозможно было вспомнить, по какому поводу они возникли.

Иногда он пугался всерьез мысли, что без нее будет вычеркнут из жизни. Это подозрение в почти наркотической от нее зависимости заставляло его быть несправедливым к ней, хотя, честно говоря, более несправедливой, говорящей назло и явно наслаждающейся этим была она. В этом деле ей не было равных.

Иногда, стараясь освободиться от этой зависимости, он поддавался чарам симпатичной машинистки в редакции или девицы, у которой брал интервью. Но через несколько минут заигрывания или даже весьма интеллектуально-эротического разговора он ощущал, что начинает задыхаться, и взгляд его становится замороженным.

В эти дни он вдруг понял: его беззащитность перед «органами» еще больше привязывает ее к нему. Чувствовала, что только она может его защитить.

Могло ли это утешить его или хотя бы утишить?

Мужчины, выпив, начинали хвастаться своими победами, но вскоре раскисали, приходя скопом к одному и тому же неутешительному выводу, что женщины обладают разрушительной силой и только они разбивают семьи. Орман подливал масло в огонь, цитируя о женщине из «Притчей царя Соломона» – «Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти».

Разверзшаяся у ног пропасть

Был март, насыщающий воздух слабыми, но подступающими к сердцу, запахами гниения. У женщин под глазами проступали черные круги, подобные черноте пожухшего, еще вчера искрящегося белизной и молодой упругостью, снега.

В камерке раздался звонок. Орман снял трубку и потерял дыхание, услышав костлявый, косой срезающий висок, хрип отчима:

– Мама твоя умерла.

В трубке еще слышалось какое-то хлюпанье, но мучительно сводила челюсть расстановка трех слов, так сводит с ума застрявший в мозгу занозой вопрос: «Мама твоя умерла... Почему не «Твоя мама...», почему «умерла»?

Остальное он помнил, как бы время от времени приходя в сознание.

Жена держит его за руку.

Что он тут делает в пропахшей мертвечиной и потом толпе в какой-то заслеженной грязью кулинарии? Куда их несет в разваливающемся от старости такси по страшным колдобинам, встряхивающим неизвестно где находящуюся в эти мгновения его душу?

Пустые улочки родного городка казались нескончаемыми аллеями кладбища. До слуха доходило лишь карканье ворон. Он даже не узнал дом своего детства.

Все было бессмысленно. Крышка гроба во дворе. Тело матери, лежащее почему-то на раскладушке. Нелепый стул, на котором он просидел всю ночь, вглядываясь в такое непривычно спокойное лицо матери.

Вокруг скользили беззвучные тени, и дом, долженствующий быть крепостью, напоминал проходной двор.

Он и сам не помнил, как ухитрился выскользнуть в одиночку и спуститься к реке, столь много значащей в его юности. Сидел на каком-то заледеневшем камне. Река расползлась льдинами, как дурной сон, как сама бессмысленность существования и уничтожения, могущая в единый миг всосать восковую плоть, называемую человеком. Только бессмысленность этого всасывания и забота о том, что маму-то надо похоронить, спасали от сладкого желания броситься в это ледяное быстро уносящее крошево.

Разве Шопенгауэр не подхватил слова, вложенные Гете в уста Мефистофеля, чтобы на этом построить такую в этот миг льнущую к опустошенной душе Ормана теорию о том, что жизнь вообще ошибка природы: «Я дух, все отрицающий, и, поступая так, бываю совершенно прав, потому что все существующее кончает непременно погибелью, вследствие чего лучше было бы, если бы оно не существовало совсем».

Потом была яма, сами по себе текущие слезы и чувство стертой начисто жизни.

Вот и пришло время говорить «Кадиш». Было ли это и вправду Высшим призрением, но слова выплывали из размытого беспомысленным сознанием ясно, четко, без единой запинки.

Не желая ничего брать из дома, он дождался, когда все ушли, извлек из-за перекладины буфета заветные бумаги отца и вложил их за пазуху точно так же, как бабушка вкладывала туда маленький свиток Торы.

По дороге обратно его охватило удушье.

Врачи определили пневмонию. Прежде, чем лечь в больницу, Орман впервые исповедался жене, передал бумаги отца и наказал хранить их, как единственное и самое дорогое, что у него есть.

В больнице он не хотел никого видеть. И кто же его все-таки посетил? Тот, кому нет, и не может быть никаких преград, – Вася. И даже принес пресловутую коробку шоколада, судя по дате списанную из набора приманок новых жертв тщательно распространяемой и лелеемой органами болезни – стучачества.

В одну из больничных ночей снился ему нескончаемый сон, из которого не было сил вырваться. Светлеет, светает, сверкает, глазам больно. Да это же медь и солнце, музыка, демонстрация, и он сидит на плечах отца, видит лишь затылок. «Папа, – кричит он, – пап, поверни голову, я видеть тебя хочу, я тебя никогда не помню, ну, па-а-апа, повернись, миленький, я же тебя больше могу не увидеть никогда, слы-ы-ши-ишь?» Смеется отец, вполоборота повернув смуглое свое лицо, зубы радостно сверкают. Смеется и удаляется.

«Постой, папа, только ответь мне, и все, пост-о-ой!» Выпрыгнуть в окно. А там совсем сухо, асфальт бел и пылен, дышать нечем, сушь невероятная. А на другой стороне улицы в свете фонарей видно, как идет сильный дождь, а отец за дождем, удаляется и смеется: «Прощай и помни обо мне...» Слова отца Гамлета? А далее, через квартал, идет снег, рыхлый, мартовский, смешанный с грязью, и мама стоит, аккуратно одетая, и держит палку, а на палке дощечка, на которой чернильным карандашом начертаны имя, отчество и фамилия отца. А он все смеется и удаляется. «Прощай», – уже как шелест. Мама улыбается: живи, сынок, у тебя еще запас наших лет, мы рано истлели, но страсти и надежды наши оборвались на подъеме, они еще должны в тебе исчерпаться. «Нет, – кричит Орман-сын, – нет, во мне не только страсти ваши и надежды, во мне ужас и страх ваш предсмертный, вы уже переступили черту, зачем же оставили меня, вы же так любили меня?»

Целый год, после выхода из больницы, Орман с трудом выползал из другой болезни или состояния, научно называемого вегето-сосудистым неврозом, но не дающего покоя ни на минуту – головокружениями, тошнотой, сердцебиением, боязнью потери сознания, внезапно наплывающим жаром.

Друзья-врачи пичкали его седуксеном, элениумом, глюконатом кальция.

Ничего не помогало. Спас Ормана бег. Уже через месяц он бегал на дальние дистанции, главным образом, вокруг озера.

Обычно это происходило в часу шестом утра. В застойном мраке предрасветного времени того страшного для Ормана года, открытый им, как второе дыхание, бег был единственным знаком возвращения к жизни.

Однажды в абсолютной тишине, когда даже птицы еще не проснулись, внезапно взревели, в прямом смысле, медные трубы, заставив от неожиданности присесть не только Ормана, но и всю окрестность.

Духовой оркестр во всю силу наяривал еврейский танец начала века – «Семь сорок», отмечавший в то время отход поезда из Одессы в Кишинев.

Отгеснив Ормана на обочину, мимо неслись полчища тяжело дышащих потных людей. И тут он увидел плакат: «Кросс гарнизона южного военного округа» и рядом военный духовой оркестр, пускающий медью зайчиков в первых слабых лучах зари.

Вероятно, после Шестидневной войны, несмотря на всеобщее осуждение израильской военщины, рейтинг еврейской воинской доблести сильно подскочил вверх, и ее следовало внедрить перед вторжением в Чехословакию в значительно расслабившийся дух солдат южного военного округа, так сказать, поднять моральный и физический уровень войск перед оказанием братской помощи.

К ночи началась мобилизация.

До самого утра ходили по аллеям, переулкам, лестничным клеткам люди с повестками, обязывающими в течение часа явиться в близлежащий мобилизационный пункт. Стучали в соседские двери. Выкрикивали фамилии. Ормана не тронули.

С утра в округе только и было разговоров о том, как одного соседа при стуке в дверь прохватил понос, вернее, медвежья болезнь, другой через балкон спустился по водосточной трубе, а жена сказала, что уехал на рыбалку.

На следующее утро в очереди за молоком кто-то осторожно коснулся спины Ормана. Обернулся. Женщина с изможденным лицом и живыми от скрытой боли глазами почти прошептала:

– Они вошли ночью.

С осенними сквозняками вкатывались в уши неизвестно из каких подворотен новые анекдоты.

Советский солдатик с испуганным выражением на лице и автоматом наперевес кричит с танка посреди Праги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, а то стрелять будем!»

В кинотеатрах шел документальный фильм «Контрреволюция не пройдет».

Потрясал замотанный бессонницей, небритый Брежнев. В глаза ему смотрел спокойно улыбающийся и уже ничего не боящийся Дубчек.

Но перед кем трусил Брежнев, который отныне будет для Ормана всегда небритым? В Бога он не верил. Трусил перед временем? Перед идеей, которая исчерпала себя, как высохший колодец? Перед властью, этой невидимой, но смертельной силой?

Власть это Бог. Но, говоря, «Бог милосерден», мы не грешим против истины. Сказать «Власть милосердна» может лишь неизлечимый подхалим или обезумевший заключенный, после двадцати пяти лет отсидки хвляющий тирана, лишившего его жизни, сделавшего «живым трупом». Можно ли после четверти века тюрьмы и лагерей еще чего-то бояться? Оказывается, можно: власти, бездушной, слепой, давящей, как машина переходящего в неполюженном месте дороге прохожего.

Не потому ли за каждым действием или бездействием, за кажущейся спасительным забвением тенью стоит, не к ночи будь упомянут, Сталин, ибо во мраке ночном нет тени, а при свете дня он то идет по твоим пятам, то пятится перед тобой, по движению изводящего зноем светила.

Сумел же этот маленький человек своей полупарализованной рукой довести бесчисленные массы народа до такой «ручки», чтобы, ухмыляясь в слезавшуюся щетку усов, слышать и принимать, как должное, – клич: «Сталин наше солнце!»

Чесались руки у Ормана все это записать. Удерживал страх, но он же врезал в память на будущее все эти, кажущиеся мимолетными, как бегущие облака, мысли. Именно, это скрываемое и мучительное, спасало душу, направляло мысль, оправдывало жизнь, наполняя ее болью истинного существования в минуты, когда, щурясь на солнце, Орман вел домой за руку сына из детского сада.

Солнце 68-го страшного года стояло в зените угрожающе недвижно.

Единственная радость, которой он ни с кем не мог поделиться, была связана с небольшим срочным переводом для костоправов. Вася прибежал с материалом, запыхавшись. Оказывается, 31 октября эти неугомонные и никаким деспотическим державам не подчиняющиеся израильтяне высадили в Египте десант, взорвали два моста через Нил, вывели из строя электростанцию в 230 километрах от Асуанской плотины и погрузили весь южный Египет во тьму египетскую. Намек египтянами был понят: плотина была беззащитна, могла пострадать, а это означало, что, вероятно, половина Египта может быть залита наводнением – еще одной новой библейской казнью.

А вокруг Ормана эпоха, как ее потом назовут, застоя только начинала разворачивать свои свиные крылья и показывать ястребиные когти.

В действительности, хоть слабо, но все же утешало ощущение, что он как бы проживает в Израиле, который каждый раз вставлял фитиль нашей дорогой «Софье Власьевне» – так с некоторых пор в частных разговорах стали называть советскую власть. Тут же срочно возник Вася, ибо никто так оперативно, и, главное, с удовольствием, как Орман, не переводил статьи и репортажи из французской вечерней газеты «Франс Суар».

Декабрь шестьдесят девятого был на исходе. В предновогодние дни стоял мерзкий холод. Но Орману было жарко, когда он, выстукивая перевод, представлял себе, как переодевшись в египетскую форму, «эти молодчики», как скрипя зубами и скрепя сердце, называли израильских десантников самые правдивые в мире советские средства информации, высадились ночью на вертолетах в районе Рас-Араб, на египетской стороне Суэцкого канала. Быстрой атакой они захватили базу, где находился новый многотонный советский радар. Отделив его от платформы, подвесили к одному из вертолетов и перевезли в Израиль. По мнению американских специалистов, этот радар представляет собой объект высшей стратегической важности. Французы тоже выражали возмущение. Оказывается, в ту же ночь те же беспокойные израильтяне выкрали из порта Шербур торпедные катера, заказанные ими у французов, которые потом наложили эмбарго на их поставку. Эта «воровская ночь» потрясла всю мировую прессу.

«Отчего это непьющий Орман так весел?» – удивлялись те, кому выпало встречать вместе с ним новый, 1970 год.

Знаки безвременья

Стояло мирное сентябрьское утро семидесятого. Орман вел сына в школу. Чувствуя, что кто-то его догоняет, обернулся. Вася задыхался от спешки: срочный перевод.

За окном каморки печально желтели листья дерева, дремлющего в медовой осенней солнечности, а строки, выбиваемые Орманом на машинке, пахли кровью и гибелью. Оказывается, палестинские «борцы за свободу», обучившиеся в советских спецшколах, решили свергнуть иорданского короля Хусейна и совершили на него покушение на пути в аэропорт. Иорданская армия перешла в наступление. Две сирийские бронетанковые бригады пересекли иорданскую границу и захватили город Ирбид. Военно-воздушные силы Иордании разнесли в пух и прах колонны сирийских танков. Более восьми тысяч палестинских боевиков было убито, десятки тысяч ранено. Бежали они в Израиль и сдавались. Часть из них сумела пробраться в Ливан.

Время катилось, принося все новые потрясающие мир сообщения. В близящемся к концу семьдесят первом президент Египта Садат заявил, что готов положить миллион солдат в войне с Израилем, чтобы вернуть достоинство своему народу.

Резкий сдвиг в жизни Ормана произошел за неделю пребывания в Москве в качестве участника всесоюзной конференции журналистов.

Давным-давно не знал таких дней интенсивного проживания в абсолютном безвременье.

Поселили их в писательский дом творчества в подмосковном Переделкино. Среди незнакомых лиц, вызывая мимолетный столбняк, плакатно мелькали Трифонов, Вознесенский, Шагинян. Из глубин начала века, при свете керосиновой лампы, ибо временами гасло электричество, мерцали печально-насмешливые глаза, и сверкала гладкая, без единого волоска, голова Виктора Шкловского. Было странно, что столовались они рядом и ели то же, что все остальные – щи, шницель с гречкой и компот.

Могила Пастернака скромно вставала, как неунничтожимая истина среди моря лжи, среди сжавшегося до размера могилы воспетого им пространства. Не дай Бог, думал Орман про себя, «привлечь к себе любовь пространства» сегодняшнего, ядом льнущего к устам человека.

Сгорало и тлело знойное лето 1972 года.

Ночами Орман уходил в глухой уголок парка, ложился навзничь на траву, глядел на небо между высоких чуть качающихся в полном безветрии сосен. Как в детстве, замирал в ожидании, когда земля под ним начнет крениться.

В небе светились Стожары, где-то под Москвой бушевали торфяные пожары. Они выжигали подпочву, так, что туда проваливались трактора и пожарные машины.

Это медленное подземное тление, казалось, постигло всю страну, все более зависающую на тонком слое да лживом слове поверх выжженного нутра.

В этом давно пропахшем серой – запахом преисподней – сером прозябании душа исходила тоской по дому и близким. Успокаивалась лишь в эти ночные часы лежания на сухих травах.

На конференции, в огромной толпе писак, ощущалось полное, не предвещающее ничего хорошего, безлюдье.

Странные события словно бы накапливались пеной у невидимой стены, не в силах сдвинуть время, душили, изнывали, пытаюсь прорваться в абсолютно неясное завтра. Воистину нечто мистическое, подобное таинству самой жизни, противостояло таращащему слепые бельма будущему.

Именно здесь, в стольной-престольной, в этот сжатый неделей срок, безвременье изводило своей бездыханной недвижимостью.

Можно было предъявлять иск Истории, можно было творить суд над ней, вернее над творящими ее и столько мерзостей натворившими, но сама по себе История, как и судьба, зависела лишь от Бога, расставляющего все на свои места даже в перспективе одного столетия. Ощущение близящейся смены декораций, а, вернее, падения декораций, Орман чувствовал шкурой, что и пытался выразить в стихотворных строчках.

В Москву! – О, клич публично-благостный
В провинциальной мгле застойной.
Отяжелевший тягой тягостной,
Кручусь я в ней – первопрестольной.
Глуха, невнятна, неозначена,
Подобно белене-отраве,
Из всех расщелин азиатчина
Прет сорняком и дикотравьем.
Старушится Москва-сударыня,
Но держит впрок, не отпуская,
Вполглаза дремлет, вся в испарине,
По-старчески слюну пуская.
Мне пятки жжет дорога дальняя
На Ближний. Как с похмелья маюсь,
Судьбу мечу, как кость игральную,
И не живу, а – удаляюсь.
А дни бегут бесполо-полыми
И мне надежный страх пророчат.
И так из – полыньи да в полымя —
Я прожигаю дни и ночи,
Где в сбросе колченогих столиков
Отравленное льется зелье,
И плещут плечи алкоголиков,
И тризну празднует безделье.
Горит ли торф? Судьбой палимые,
Горим ли мы на свете белом? —
Из всех щелей покоя мнимого
Вовсю, захлеб несет горелым.
Не потому ль мне в страхе кажется
В кишеньке – стольном и помпезном —
Россия вся зависла тяжестью
За миг – перед паденьем в бездну.

Упрямая вера в справедливость, подобная «категорическим императивам» Канта или десяти заповедям еврейского Бога, явно принимаемая большинством, как душевный изъян, не давала душе Ормана смириться с сиюминутными выгодами. Если бы он это высказал вслух, его бы приняли за безумца или провокатора. Потому он успешно проходил испытание молчанием, писал в «стол», окутывал мысли безмолвием.

Вышедший в 1969 роман Германа Гессе «Игра в бисер», стал еще одной вехой в его жизни по силе поиска страны истинно высокого интеллекта, некоего духовного Эльдорадо или Божественной пристани на реке Афарсемон, согласно еврейской Каббале.

В реальном же смысле речь шла о невозможности метать бисер перед свиньями.

Себе дороже.

Потому особенно изводило Ормана массовое, хоровое, чумовое пение в перерывах конференции.

Группами. Всем скопом.

Власть, дряхлающая на глазах, чувствовала себя уверенно лишь в оглашенном, оглушенном, а вернее, оглошшем пространстве.

Не потому ли Орман внезапно открыл, что сама жуткая материя окружения разбудила в нем дремлющее умение слышать обостренным слухом дальние разговоры сквозь сплошное пение, истинный талант заушателя. Людское бубнение словно бы поворотом внутреннего рычажка прояснилось в речь.

Глаз подмечал ранее размытое и обманчивое. Орман пугался всего этого, словно бы некое новое рождение или перерождение толкало, сосредоточенно и в то же время как бы отсутствующе, к принятию решения, согласно анекдоту о ведущем сионисте нового времени – Юрии Гагарине, который первым сказал: «Поехали!»

А ведь и вправду решение ехать было не менее драматичным, чем полет в космос, в который не верили сидящие на скамеечке в парке его города старые евреи: мало ли что можно передавать по радио и показывать по телевизору.

Казалось, легче полететь в космос, чем покинуть пределы этого заколдованного невидимыми, но весьма ощутимыми железными цепями, занавесами, задвижками пространства.

Орману представлялось, что мистику этой замкнутости могут отомкнуть лишь соответствующие ей по абсурдности действия, как полет ведьм на метле, мгновенное перенесение с одного места на другое, побег на лесосплаве через Карелию или угон самолета, который при нем обсуждали ребята, толкущиеся у синагоги.

Байка, приписываемая жестокому шутнику композитору Богословскому, обретала реальность мечты. Якобы, желая отомстить другому весьма пьющему композитору, Богословский подговорил компанию напоить его и довести до памятника Пушкину, где тот отключился. В таком состоянии его отправили на самолете в Киев и там положили около памятника Хмельницкому. Конечно, тот чуть не свихнулся. Но очень заманчиво было бы уснуть у памятника Пушкину и проснуться в Иерусалиме, положим, у стены Плача.

Когда была взята группа, пытавшаяся угнать самолет, это было с их стороны единственно трезвым действием, разрушающим опаивающую размягчением мозга магию этого чертова пространства.

Власть еще была куда как сильна – слать танки в Чехословакию, Египет и Сирию, слыть оплотом освобождающихся народов Азии и Африки.

Когда в очередной раз на конференции сравнивали сионизм с расизмом, Орман про себя произносил, как заклинание, на иврите, слова пророка Исаяи – «Ми Цион тецэ Тора вэ двар Элоим ми Ирушалаим» – «Из Сиона взойдет Учение и слово Господа – из Иерусалима».

Естественно, в этом сжимающем виски похуже мигрени пространстве независимые философские поиски могли восприниматься только как преступление. Кто ты, ваще, такой, гражданин Орман, какое имеешь право заниматься философией, не имея ученого звания?

В перерыве между заседаниями конференции Орман разговорился с научным сотрудником Института истории и философии, довольно молодым человеком, сделавшим небольшое, но насыщенное мыслью сообщение. Достаточно было нескольких положений, высказанных Орманом, как сотрудник разволновался:

– Почему бы вам не подать документы к нам в Институт на соискание хотя бы места младшего научного сотрудника?

– Да у меня же нет звания.

– Как? Вы шутите.

Не хотелось Орману оскорблять научного сотрудника, сделав признание, что именно благодаря отсутствию диссертации он сумел сохранить незаемность мысли и независимость суждения.

Изводило Ормана одно: как переправить написанное за кордон?

Это держало его здесь.

Ребята, с которыми познакомился в синагоге, дали адрес в Москве, предупредив, что записи должны быть сжаты. Никакой гарантии, что это будет переправлено, не давалось. Орман позвонил, сказал пароль, получил указание: двигаться по таким-то улицам, найти такой-то дом, подняться на такой-то этаж, ровно в 17 часов 13 минут постучать в такую-то дверь. Понятно, что именно эти 13 минут и были современным кодом «Сезам, отворись!»

В страшнейшем волнении Орман все это сделал. Дверь открылась, высунулась рука и взяла пакет.

На улице Орман сразу заметил слежку. Ухитрился юркнуть в метро. Менял направления и станции, дважды прокатился по Кольцевой линии, пока не вышел на станции Киевской. Уже огибая разбухшее брюхо переделкинского кладбища, все еще оглядывался, не топает ли кто-то сзади.

Долго сидел, словно отходя от страха, не в силах успокоиться, с соседом по коридору в Доме творчества, старым журналистом с Урала Селенским. Лицо Селенского было изборождено глубокими морщинами. Значительную часть своей жизни он просидел в ГУЛАГе. Пил беспробудно, уважительно удивляясь стойкой трезвости Ормана.

– Надо бы проветриться, – говорил Орман, ведя пошатывающегося старика под руку среди сосен и высоко вымахавшего бурьяна. В тишине ночи, почти закладывающей уши, тот вдруг уперся в руку Ормана, расставив ноги, и произнес речь:

– Не отнекивайся, я знаю, – ты еврей!

– А я и не отнекиваюсь.

– Так вот, слушай. Мы с тобой два сапога пара по гегелевскому закону единства противоположностей. Ты – вечный Жид, я – вечный Арестант. Единственное, что Россия может выставить на мировом уровне. Все годы в лагерях я вспоминал слова Иова: «Бог сказал Сатане: сокруши Иова до края, но душу не забирай». Но если сокрушил, то и душу забирай. Не забирает. Вот откуда невыносимость. А можно душу сокрушить, а дыхание и члены оставить. Вот когда телом и умом овладевает страх. Они, костоправы дубленые...

– Костоправы? – вздрогнул Орман.

– Ну да. Они-то хорошо знают предел, до какого человек устоять может. Так вот, дружище, заполонили все поры жизни люди пота и страха. «Неверность как быстро текущие ручьи», говорит Иов. Вот, главная их черта, и ручьи эти вовсе не вода. Ручьи пота и страха. Не живут, а потом истекают.

Орман еще долго слонялся по пустующим аллеям и думал о том, далеко ли полковнику Лыкову от рейхсфюрера Мюллера? Когда они за обедом обгладывают кость, не хрустит ли она,

как кости безвинно замученных во имя идеи, которая, как уже обнаружилось, абсолютно пуста, преступна, если не безумна.

Автобус вез Ормана в аэропорт Внуково. Скрещение дорог навечно врезалось в память, исчезая за плотной стеной дождя.

В заоблачных высотах недвижно стыло ослепительно-неживое, стерильно-иллюминаторное солнце. Рядом сидели две знакомые девицы, не уступающие Орману по травле анекдотов.

Вдруг накатила темень, самолет стало трясти и швырять в воздушные ямы. Они же продолжали травить анекдоты, в то время, как вокруг все с зелеными лицами травили в кульки, разносимые стюардессами. Анекдоты надежно ограждали от страха, подкатывающего тошнотой к горлу. И хотя сознание со всех сил сопротивлялось этому, анекдоты были на одну тему: о захватах самолетов.

К примеру: самолет взлетает. Встают двое с автоматами и зовут пилота.

– Лететь в Стамбул! – Не можем, – отвечает пилот. – Почему? – А в первом ряду сидит старуха с динамитом, она заказала Марокко.

Следующий анекдот развеселил даже окружающих, чьи вовсе позеленевшие лица не отрывались от кульков.

На высоте девяти тысяч метров чукча зовет стюардессу: – Мне надо выходить! – Да вы что, на такой высоте?! – А я говорю, что мне надо выходить!

Стюардесса бежит к пилоту, теребит за руку, ибо тот дремлет, запустив автопилот. – Вася, Вася! – Ну!.. – Тут один выйти хочет. – Такой маленький? – спрашивает Вася, – Глаза косые? Выпускай, он тут всегда выходит.

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Борисполь. Яркий ослепляющий свет шел изо всех углов зала ожидания. Но за окном, во тьме, вдали, мерцал ведьминскими огоньками Виев Киев.

Было полночь. Девицы договорились с таможенниками. Те разрешили им втроем переночевать в таможне. В комнате было несколько коек для работающих ночью и отдыхающих между рейсами. В третьем часу ночи вырывают из сна: извините, прибывает самолет из Африки. Тут, в соседнем зале скамьи, дотяните на них до утра.

Только прилегли на скамьи, как вдруг вдоль противоположной стены, беззвучно, возникая из двери и исчезая в другой, начали двигаться существа, словно бы на глазах делящиеся простым делением, в синих комбинезонах и солдатских ботинках, с черными, как антрацит, головами, торчащими из воротников.

Это были, в прямом смысле, черные сотни.

Командовали два пожилых с явно костромским выговором офицера, каждое второе слово которых было «е-твою».

Черный континент, пробуждающийся под бессмертную тарабарщину русского мата, леденил кровь.

Все смешалось даже в мире привидений: черные сменили традиционно белых. Острый запах пота, как запах серы, свидетельствовал, что всего лишь миг назад здесь проходили дьявольские рати.

И настало – отрешенье...

В редакции, как всегда, подспудно бушевали страсти. По-прежнему сотрудники пытались подсунуть главному редактору, доброму, серому человечку, давно и напрочь убитому страхом, статьи, кажущиеся ему крамольными. Он безбожно вычеркивал целые фрагменты, ставя на них размашистый крест и заставляя ответственного секретаря Тифоя, единственного, на которого он позволял себе кричать, орудовать ножницами.

Статьи Ормана по искусству и литературе редактор читал с философским словарем. Он по-своему был честен и не мог вычеркивать то, чего не понимал, зато черкал материал вдоль и поперек толстым красным карандашом, вызывал Ормана, и они часами вели беседу на темы философии, истории, искусства под дружное подслушивание остальных за дверью. Это превращалось в спектакль, тешивший их самолюбие: мол, вот, кто решает судьбу их материалов, безграмотный партийный выдвиженец.

Свое подвергаемое унижению и повергаемое в прах самолюбие работники пера топили в водке, развязывающей языки, в часы, когда кто-либо из них праздновал свой день рождения в покрытых старыми трещинами и потемневших от дыма сигарет стенах редакции.

На доске хороших и плохих материалов, прикрывающих частично одну из самых значительных трещин, все время возникала надпись, который раз стираемая Тифоем под крики редактора – «Жизнь дала трещину, фортуна повернулась задом».

Ко дню рождения кого-либо из сотрудников редакция готовилась загодя. Сочинялись всяческие приказы от имени, естественно, мифического комитета общественного спасения, сокращенно – КОС.

К примеру: «В ознаменование 50-летия заведующего отделом партийной жизни Попова – 1) сменить первую букву фамилии юбиляра на «Ж» и переставить ударение. 2) выбить а) правый глаз юбиляру; б) медаль в честь 50-летия юбиляра. 3) все расходы по празднованию отнести в счет «неразменного рубля» ответственного секретаря Тифоя».

Последний пункт относился к фантастической скупости Тифоя, который любил участвовать в попойках, но когда приходил момент расплачиваться, вытаскивал из кармана неизменный рубль.

Явно наострившийся в Москве, Орман, после очередного нагоняя всем на планерке, вспомнил четверостишие Минаева:

Тут над статьями совершают
Вдвойне цинический обряд:
Как православных их крестят,
И как евреев, обрезают.

Восторгу не было предела. Кто-то шустро добыл лист ватмана, крупно написал эти строки и вывесил на доске.

Увидев написанное, редактор долго и сосредоточенно переваривал текст, и тут впал в настоящую истерику.

– Что вы стоите, как дубина стоеросовая, Тифой? Уберите это немедленно.

– Так уж стоеросовая, – буркнул Тифой, и медленно-медленно, как бы вымеряя шагом убывающее свое достоинство, подошел к доске, осторожно, не торопясь, открепил ватман и вынес его, оттопыривая пальцы, как дохлую крысу.

Орман смотрел на все это с явно вызывающей зависть сотрудников отчужденностью. Странное, но с невероятной полнотой осязаемое ожидание нового начала жизни установилось в душе Ормана, подобно холодящей родниковой воде в сосуде.

Однажды выдержанный им экзамен – отказ подписывать обязательство о сотрудничестве с костоправами – оказывался, как говорится, на сей момент важнейшим во всей его прошедшей и, несомненно, оставшейся жизни. Для него стало законом отказываться даже от более легких и соблазнительных предложений и, главное, ничего не просить, ни прибавления к зарплате, ни повышения в должности. Внутренняя независимость, так поздно, а может быть, именно, во время проснувшаяся в душе, изводила Ормана, стоило ему увидеть приближающегося с глупой своей, и, тем не менее, палаческой улыбкой Васю.

В общем-то, со времени пребывания Ормана в больнице, Вася стал появляться реже. Как-то даже нехотя передавал просьбу полковника Лыкова отыскать в «спецхране» материалы, опубликованные во французских журналах, о процессах над «молодыми сионистами», как он выражался, в СССР.

Было такое чувство, что костоправы уже смирились с мыслью об отъезде Ормана и пребывали в ожидании, не принимая, как бы в оплату за бесплатные его услуги в переводе, против него никаких мер.

На этот раз Вася был непривычно грустен, грыз веточку, озирая озерное пространство.

– Вася, – неожиданно для самого себя сказал Орман, – знаешь ли ты источник своего имени?

Вася ошалело, и, тем не менее, заинтересованно посмотрел на Ормана, и как-то даже неуверенно произнес:

– Не-ет.

– От древнегреческого слова «базилевс» – царь. Слышал, наверное, слово «базилика».

– Ну... вроде слышал.

«Базилика» это царский храм. А у христиан стал церковью, по сути, тоже храмом.

– Ну, бывай, – неожиданно и как-то даже испуганно сказал Вася, встал со скамьи, и, не пожав Орману руки, как это обычно делал, быстро пошел по тропе на выход из приозерного парка.

Все, происходящее с Орманом в эти дни, кажушиеся одним затяжным, недвижно замершим днем, ложилось, как всякое лыко в строку, возвещая тяготение к истинной сущности собственной души, которое можно было выразить знаменитой фразой Лютера: «Я здесь стою, я не могу иначе!»

Даже неожиданное сближение с фотографом Друшнером вписывалось в странные события, казалось бы, ведущие, как световой столп сынов Израиля из Египта. Обычно он встречался с Друшнером на той же скамье в приозерном парке, где отдавал ему прочитанные книги не только Ницше, а Друшнер доставал из своей, как у деда Мороза, никогда не скудеющей сумки нечто, просто сбивающее с ног своей запретностью.

На этот раз он достал две совсем крохотные книжицы размером с ладонь, явно напечатанные за границей мелким шрифтом: «Доктор Живаго» Пастернака и «Бодался теленок с дубом» Солженицына.

Разговорились, что было и вовсе непривычно. Оказалось, Друшнер уже давно шел по этой жизни, подобно канатоходцу, который в любой миг рисковал свалиться в пропасть. Он и сам не понимал, как ему это сходило с рук, и никто его не прищучивал. Хотя ждал этого в каждый миг. Но, почему? А вот так, не мог иначе. Настал момент безумцу Орману смотреть на вовсе полоумного Друшнера, отца трех деток, то ли сверху вниз, то ли снизу вверх.

Ночью приснился Орману сон: маленький человечек, рябой, в оспинку, по имени Сталин, закрыв глаза, тоненьким голоском пел «То не ветер ветку клонит... То мое сердечко стонет». Слезы катились из его глаз. И не было на свете человека, которого надо было бы более пожалеть. Брал бинокль. Куда-то ехал, окруженный трясущейся охраной. Притаившись в скрытой комнате, о которой никто не знал, но все боялись догадываться, следил в специально пробитое окошко через бинокль за тварями, ползающими и шевелящимися, и имена у них какие-то странно знакомые – Зиновьев, Каменев. Роскошный страх витал над Третьим Римом. Страх судей – и они лютуют. Но тут внезапно означился миг мирового молчания – Глас Божий с Синая. Не черное солнце мертвых, увиденное Мандельштамом, а черное солнце живых возникло с молнией и громами над высотами Синая, солнце высшего взлета Духа.

Кто-то тронул Ормана за плечо. Обернулся. Друшнер, стоя на канате прочнее, чем Орман на твердой почве, приветствовал его, подняв руку, словно именно он, Друшнер и сотворил все это светопредставление.

Сон был настолько отчетлив и подробен в деталях, что Орман долго еще не мог прийти в себя, и по безумному порыву, ставшему уже привычкой, вскочил с постели и стал прислушиваться к дыханию жены, сына и совсем крохотной, два года назад родившейся, дочки.

Спустя несколько дней, в ранний утренний час, раздался стук в дверь. Орман быстро припрятал книжицу Солженицына, которую читал, и открыл дверь. Незнакомая девушка сказала негромким приветливым голосом:

- Просили вернуть книжечки.
- Вы кто? Как вас зовут? – оторопел Орман.
- Меня зовут Лена.

Как-то не отдавая даже отчета своим действиям, Орман вынес книжицы девушке, закрыл дверь и стал терзать себя, правильно ли сделал, отдав незнакомке, может, вообще подосланной, запрещенные книги.

Мерещился обыск. На всякий случай перебрал все бумаги и самые на его взгляд опасные сжег в нагревательной колонке, все время испытывая омерзение к самому себе.

В редакции узнал у секретарши адрес Друшнера. Поднимался по лестнице, оглядываясь по сторонам. Постучал в дверь. Долго не открывали. Выглянула женщина, вероятно, жена Друшнера. И тут Орман увидел его как бы вдалеке, прижавшегося к стене, идущей внутрь от входа, в окружении словно бы защищающих его детишек.

- Да? – только и сказал Орман. Друшнер закрыл глаза в знак согласия.

Грянула война Судного дня.

Опять возник Вася и вручил пачку французских газет, ибо требовалась самая свежая информация. Орман переводил ночи напролет. Тревога, выгрызавшая его душу совпадала с корыстными целями костоправов знать правду. Для Ормана это было особенно важно, ибо передачи всех западных радиостанций даже не на русском стали забивать с особой яростью и бесстыдством.

А тут корреспонденты газеты «Франс-Суар» писали репортажи по горячим следам войны. Особенно скребли сердце сообщения о репатриации большого числа евреев из СССР в разгар боев, рвущихся на передовую.

Утром, проработавший всю ночь, Орман осторожно прикоснулся к руке спящей жены. Вскочила со сна в испуге:

- Что случилось? Ты что, решил бороду отпустить?
- Бороду не бороду, а ехать надо. Начинаем готовиться. Сегодня же пойду к ребятам в синагогу заказывать вызов.
- Ну, ты, надеюсь, побреешься.
- Далась тебе эта борода.

Кончилось вальяжно-ленивое прожигание времени.

В течение считанных часов Орман встретил Васю, отдал переводы, не обмолвившись даже словом, и тут же пошел в синагогу, где в любое время толклись молодые люди, молча пожавшие Орману руку, узнав о его решении. Они настолько были этому рады, что готовы были передать все накопившиеся у него рукописи и вообще бумаги за кордон, они намекнули, что пакет, отданный им в Москве, благополучно дошел до адресата. И вправду следовало напевать «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз», про себя меняя адрес на Израиль.

Орман радовался, что нет хода назад: ядро его духовной сущности уже было – там, здесь была лишь физическая оболочка, с каждым днем все более отторгавшаяся от окружающей среды. Он говорил, смеялся, рассказывал анекдоты, но даже близкие друзья виделись как бы за туманной завесой.

Сколько еще завес надо будет приподнять, чтобы добраться к самому себе, думал про себя Орман.

Вызов пришел через неделю.

Предстояло пройти экзекуцию – редакционное собрание, осуждающее изменника, иначе невозможно было получить характеристику с работы, а без нее нельзя было подавать документы в отдел виз и регистраций – ОВИР.

Опять все застопорилось. Орман продолжал ходить на работу, и даже, как ни в чем не бывало продолжал переводить.

Армия обороны Израиля чуть не захватила Каир.

Повадился к нему один специалист по сионизму по фамилии Гольденберг, носил статьи, заводил дискуссии о расистской сущности сионизма. Неужели, думал Орман, его подослали? Напрямую спросил Васю.

– Да ты что? – искренне возмутился Вася. – Этот шибздик? Порвем ему пасть.

Можно ли было передохнуть? Даже самое близкое существо не могло дать Орману ответ на этот заданный им сам себе вопрос.

Пару раз приходилось продлевать вызов. Серьезный испуг вызвало ощущение, что друзья снова отчетливо приблизились, упала завеса тумана.

Испуг прошел. Уже отменили осуждающие собрания.

Затем случилось самое простое. Сын пришел из школы, явно чем-то озабоченный:

– Пап, тебя вызывает директор.

– А что случилось?

– Я дал одному в морду.

– Ты?

– Он сказал мне – «жид».

В этот миг все снова затянулось туманной пеленой. Это был такой тихий хаос, пробирающий до костей, заглатывающий прожитую жизнь без остатка.

Внезапно Орман ощутил, как перебой сердца, что надо начинать жизнь с первого чистого листа, и как можно быстрее, ибо и времени не останется, а после будешь жалеть о каждом потерянном мгновении.

Главный редактор как будто был готов к сообщению Ормана, только сказал, что должен справиться, нужно ли собрание по такому поводу.

– Отменили, – сухо сказал Орман.

После обеда позвонил Тифой:

– Приходи, тебе уже написали характеристику, пальчики оближешь.

Сотрудники толпились у дверей редактора, тревожились. Все же это было как взрыв бомбы в этом трещащем по швам пространстве.

– Что ты там будешь делать?

– Землю рыть.

Увольняясь с работы, узнал, что все это время был всего лишь исполняющими обязанности заведующего отделом. Начальство застраховалось на случай, если вышестоящее спросит, как это еврей и не член партии занимает ответственный пост.

Сдал документы в ОВИР. Началось ожидание.

Орман писал стихи:

Вот и принято решенье,
И настало – отрешенье.
Были стычки и придирки,
И издевки надо мной.
Миг. И мир, что был впритирку,
Замер в злобе за стеной.
А всего-то сдал бумажки —
Не в окно – в какой-то лаз

Сытой ряшке без поблажки
С оловянной скудью глаз.
Мир стреножен, но острожен,
И уже тайком грозят,
Что отказ весьма возможен.
Только нет пути назад.
Помню жизнь – корысти нет в ней,
Были в ней тоска и страсть.
Жизнь короче ночи летней
Птичьей стаей пронеслась.
Все старался, землю роя,
Первым быть всегда во всем.
Только тайный знак изгоя
Пламенел на лбу моем.
Вот и принято решение —
На земле я этой гость.
Жду бумагу с разрешением —
В ней судьба вся сжата в горсть.
Ни к кому не обращаюсь,
Да и не о чем просить.
Не живу – со всем прощаюсь.
Только можно ль все простить?

Шли месяцы. Таяли снега. Возникла новая листва. Перезревшие плоды падали с деревьев. Орман ловил себя на том, что присматривается, как никогда, к явлениям природы. Некоторые из сотрудников газеты, случайно встретившись с ним в городе, шарахались от него, как от прокаженного.

Орман был удивлен стуком в дверь.

За ней стоял Вася, неотвратимый, как судьба.

– Пришел осматривать квартиру?

– Почему бы и нет, – сказал Вася и сделал знак: мол, проводи.

Сели на скамейку в сквере.

– Знаешь, твое объяснение моего имени сильно меня впечатлило.

Слова-то какие, явно не из васиноного лексикона, подумал Орман.

– Для этого ты меня вызвал?

– Слушай, тебя решили выпустить. На днях вызовут в ОВИР. Ты даже не представляешь, сколько ребят из нашей школы работают у нас. Все они о тебе говорили только хорошее. Ну что ж, больше не увидимся. Так что давай вась-вась, – сказал Вася. Орман пожал протянутую руку.

– Спасибо, Вася, – сказал дрогнувшим голосом.

Господи, думал Орман, что за страна несчастная такая. Сколько прожил в ней и все же не мог представить, что столько ребят из его школы – секретные сотрудники. Сплошная мания преследования.

Паранойя, возведенная в ранг государственной политики.

Предстояло пройти еще один шабаш на таможене пограничной станции Чоп.

Ведьмы рвали крышки с коробок с шоколадными конфетами, разламывали их по-паучьи шевелящимися руками, свидетельствующими о том, что они принадлежат нечисти.

Вурдалаки выкатывали водяные глаза, не переставали орать, выбрасывая вещи из чемоданов, с видимым наслаждением копаясь во внутренностях их владельцев.

Последней преградой были зеленые юнцы в зеленых робах с автоматами наперевес, требующие какие-то последние бумаги.

Только воспринимая это как безумие, можно было пережить, унять сердцебиение, слабость и тошноту.

За окнами поезда, несущегося по Европе, катился июль 1977 года.

Лязгали сцепленья, отмычки, постукивали металлические буфера, сворачивая железный занавес отшумевшего спектакля сорока лет жизни, а рядом были только самые близкие, для которых человек и должен жить.

Орман писал на каких-то клочках оберточной бумаги:

Прощай, страна былых кумиров,
Ушедшая за перегон,
Страна фискалов без мундиров,
Но со стигматами погон.
Быть может, в складках Иудеи
Укроюсь от твоих очей
Огнем «возвышенной идеи»
Горящих в лицах палачей.

ЦИГЕЛЬ

Врожденное чувство ищeyки

Факультет автоматик и телемеханики филиала Каунасского Политехнического в Вильнюсе, на котором учился Цигель, был нашпигован стукачами. У Цигеля на это дело был тонкий нюх.

Это особенно было ощутимо в 1956, в дни, когда в Будапеште шли уличные бои, и советские танки били прямой наводкой в любую щель, окно, подъезд, откуда раздавались выстрелы.

Стоило в коридоре собраться трем или более студентам, как у одного из группы можно было безошибочно отметить озабоченность, напрягающую память: не пропустить то, о чем говорят и, главное, запомнить.

Цигеля это вовсе не смущало. Седьмым, к этому времени уже и профессиональным чувством он ощущал этот огромный скрытый мир, который дышал каждому в затылок. Мир этот ничего, казалось бы, общего не имел с реальностью каждодневного проживания, но именно он был истинно реальным, и в нем все доносили на всех.

В собственной семье, с момента, как Цигель себя помнит, он жил как в осином гнезде. Всего-то их было четверо: отец, мать, бабка и он, Цигеленок.

Война шла между отцом и бабушкой, которая, по сути, растила малыша. Бабка была из семьи выдающихся праведников – хасидов Брацлава, и абсолютно не то, что не понимала, а не хотела понимать, почему это надо скрывать. Гордиться же, как ей объясняла дочь, учительница русского языка, она должна ее мужем, чей папа был парикмахером в Тульчине, только потому, что дочерний муженек из низов и к тому же партийный деятель, закончивший рабфак по юридическому делу.

– Да он же пес, – говорила бабка, – он хуже этих разбойников-гозланам. Да и что возьмешь с сына какого-то парикмахера, более пархатого, чем его клиенты. И вот же мне, дочери великого раввина и праведника, надо его терпеть.

Деятеля этого часто переводили по работе с места на место, то в Гайсин, то в Бершадь, то опять же в Тульчин. Места эти славились в прошлом праведниками-хасидами, которых извели под корень перманентными погромами, производимыми то белой, то красной армией, то налетами батек всевозможных цветов и расцветок, достойных преемников батки Хмельницкого, а напоследок – НКВД. Но постоянным у Цигеля-отца было то, что в любом месте работал он почему-то по ночам, приходил к утру. Небритый, еле держась на ногах, он сразу же валился в постель.

Бабка говорила дочери: ему надо мыться. Отмываться. От него пахнет чужим потом и кровью, а нам отольются чужие слезы. Тотчас у дочери начинали течь свои слезы, она впадала в истерику, била себя кулаками по голове, бабка бежала за валерьянкой, а малыш забивался под одеяло и затыкал уши.

Мать учила сына в дошкольные годы русскому языку.

Бабка же, с которой он проводил почти все время, знала немецкий и французский. Она читала в оригинале на французском языке сохранившиеся от своего отца комментарии великого Раши к еврейскому Священному Писанию. Но учила внука языку идиш. Говорила только на нем, а русские слова намеренно коверкала. В те годы он знал идиш лучше русского, мог писать и читать.

Отец от этого просто сходил с ума, точил мать и днем и ночью. Из-за стены до малыша доносилось глухое его бубнение. Мать обреталась между двух огней, ее изводила эта подко-

верная борьба за сына и внука, и всю свою злость и боль она отчаянно вколачивала в ковры, развесив их во дворе.

Вторая мировая война застала их по дороге домой из Брацлава в Тульчин. В Брацлав бабка ездила на могилу своего отца раввина Ицхака Берга.

Уже всю бомбили узловую станцию Вапнярку, когда одетый по-военному отец привез их туда на полutorке. Вещи забрасывали на открытую платформу товарняка под ослепительный свет прожекторов, вой «Юнкерсов», лай зениток, грохот бомб и цветной фейерверк трасирующих пуль. Бабку подсаживали молодые бритые наголо красноармейцы. Перепуганный малыш никак не мог унять дрожь, хотя мать накрыла его шубой в эти жаркие ночи начала июля. Состав начал медленно двигаться. Отец успел махнуть рукой и скрыться с полutorкой во тьме, где мигали какие-то огоньки и слышались выстрелы: вроде бы ловили диверсанта, подававшего световые сигналы вражеским бомбардировщикам.

Красочно расцветающая во мраке смерть на всю жизнь запомнилась малышу.

Все годы войны они жили в небольшом селе около Саратова, откуда немцы, обитавшие здесь испокон веков, были выселены в Сибирь. Ночь за ночью длился в небе вой «Юнкерсов», летящих бомбить Саратов. В своей халупе они гасили слабый огонек, теплящийся в патронной гильзе, таились в темноте, засыпали под ставший уже привычным гнусавый вой немецких моторов.

Утром из-за горизонта тянулся безмолвный черный столб дыма.

В школе, где мать в старших классах учила русскому за жалкие гроши, первоклашка Цигель привязался к своей учительнице Марьмихалне и втихомолку рассказывал ей про все, что творится в классе. «Какой у вас чудный сыночек», – нахваливала она его матери.

– Перестань ябедничать, – говорила ему мать.

– Так я же и сам нашкодничаяю, и о себе рассказываю.

– Говори о себе, но не о других. Это плохо кончится.

Отец был послан в Вильнюс тотчас после освобождения города. Но прежде приехал за семьей, весь из себя боевой, позванивая кучей медалей на груди. С приближением к Вильнюсу переделался в гражданскую одежду. В Литве было спокойно. Партийцев убивали.

В школе Цигель освоился быстро. Что и говорить, умел он так ненавязчиво сдавать директору нашкодивших дружков по классу и затем им же, со стекленеющими от избытка искренности глазами, сообщать, что директор все знает, и следует настаивать твердо на своей невинности. Иногда просто жаждал попасться, но всегда, к собственному изумлению, его спасал внешний вид.

Однокашнику, унылому зануде с крючковатым носом, Гендлеру, приписывали все грехи доношительства. Его так и называли «Легаш». Но это ни в чем не повинное существо настолько вписывалось в собственную внешность и характер, что и не отбрехивалось.

У него же, Цигеля, и по сей день осталось округлое, мальчишеское, располагающее к себе лицо постаревшего подростка, пикническая мягкая фигура, нераздражающая вальяжность. Округлость молодит. Слушает он собеседника не жадно, как бы скользя мимо, с этакой вежливой, но не слишком заинтересованной внимательностью. И собеседник в ответ раскрывает душу, часто почти захлеб.

Только однажды он в испуге понял, что не все так просто, как ему кажется.

В класс был приглашен отец Гудилина, кавалер многих орденов.

– Подумаешь, – говорил Цигель, не видя, что за спиной стоит сын орденосца, – у моего бати орденов намного больше.

– Знаешь откуда они, ордена эти? – Гаркнул почти в ухо вздрогнувшему Цигелю Гудилин, который был выше его на целую голову. – Батя твой где служил? В полевом трибунале. Там был один приговор: расстрел. Пустят в расход, а ордена делят между собой, понял, Козел? И учти,

насексотишь, что для тебя не ново, пеняй на себя. Убить не убьем, но калекой останешься на всю жизнь.

Это был, пожалуй, первый и последний прокол. Цигель испугался не на шутку, на некоторое время замкнулся, стал плохо спать. Цигель в общем-то никогда не пытался дотошно узнать, чем занимался его отец, словно чувствовал, что в этих занятиях, было что-то подозрительное и неприятное. Не все ли равно, был ли батя орденосным ординарцем или ординарным орденосцем. Но случай с Гудилиным заставил его задуматься.

В один из дней отец, который редко являлся днем домой, как-то очень резко и неожиданно сел рядом с ковыряющим вилкой какую-то еду сыном.

– Ты умеешь писать и читать на идиш?

– Не-е-ет, – испуганно сказал сын, памятуя войну между отцом и бабкой.

– Говори правду! Мне это важно. Вот, я тебе диктую по-русски, а ты переводи на идиш.

Цигель младший стал бойко писать.

– Поздравляю, – сказал отец матери, – у нас будет финансовое подспорье.

Тебя, сын, вызовут на днях. Веди себя достойно и ни от чего не отказывайся. Тут, в Вильнюсе, все местные евреи знают идиш с детства. Так что очередь будет большая, понял?

И вправду, дня через два, вызвали Цигеля в кабинет директора школы. Там сидел бесцветный молодой человек в мешковатом костюме, который обратился в присутствии директора к Цигелю:

– Вас вызывают в райком комсомола.

Цигель выразил бесцветному истинное дружелюбие, хотя внутренне тот вызывал брезгливость сбитыми каблуками туфель, неряшливо повязанным засаленным галстуком, бегающим взглядом гнилого цвета глаз. Может в этом и подвох, что таких выбирают? Это как-то даже унижало тот скрытый мир, от ужасов которого, после разоблачений XX-го съезда спустя несколько лет, трепетала душа. На следующий день в райкоме его подждал вместе с бесцветным белесый то ли литовец, то ли латыш, который пожал Цигелю руку и как-то весьма по-дружески представился:

– Аусткалн. Откуда вы так хорошо знаете идиш?

– Да вот, понимаете, бабушка, – замялся Цигель, понимая, что следует говорить правду, – другого языка не знает. Вот и меня научила.

– Отлично, – сказал Аусткалн, – вы не представляете, насколько нам нужны.

Не прошло и пяти минут, и они выглядели как старые знакомые: пили вино, закусывая шоколадными конфетами, которые бесцветный, как фокусник, достал из-под полы.

Бумажку о сотрудничестве Цигель подписал легко, как бы не глядя.

Такая легкость вызвала даже некую настороженность со стороны этих прожженных типов.

Но в этом был он весь: с одной стороны авантюрист, с другой – патологический трус, мгновенно оправдывающий подлость слабостью характера и любопытством, опережающим любую логику, мораль, брезгливость.

– Как вы относитесь к войне в Корее и конфликту в Берлине? – как бы между прочим спросил Аусткалн.

Цигель отчитался по всем правилам марксизма-ленинизма. Лишь пожалел потом, что слишком легко согласился сотрудничать. Надо было чуть покуражиться, изобразить из себя жертву. Это у них принимается с пониманием: у жертвы начинаются угрызения совести, да поздно и не очень мучительно.

Хотя, если смотреть в корень, все же возникает трещина, облом личности, надлом судьбы, перерождение.

Ничего такого Цигель не чувствовал. Вероятно, есть такие существа, которые рождаются с душой ищейки. Природа дала ему такой набор данных, что он далеко бы пошел по тому

пути, если бы не был евреем. Когда гонялись за объявленными в розыск шпионами, вроде сброшенными на парашютах, Османовым и Саранцевым, не он ли из всех школяров был наиболее активен?!

«Этот стервец, – сказал мужик, за которым он неотступно шел, – от меня не отлипал».

Тогда, еще мальчишкой, он ощутил то острое хищное чувство ищейки, которое в них пробуждали беседующие с ними, щенками, на равных настоящие волки сыска, рядившиеся в шкуры патриотов, и кажущиеся интеллигентами, по сути, лишь благодаря галстукам. Более внимательный взгляд мог заметить и искривленные каблуки, и странно торчащие туфли на их когтистых лапах.

Вся беда в том, что никого рядом не было с этой стороны – протянуть руку и помочь выбраться из засасывающей ямы.

Вот, нашел виновника собственной подлости.

Письма, слава Богу, горят

Больше всех на свете Цигель любил бабу, видя в ней уходящую породу благородных людей. В Цигеле она души не чаяла, не подозревая, чем занимается дорогой внучек. А он шел по улице Сталина от башни Гедиминаса в сторону моста через реку Нерис, невольно выпрямляясь у здания КГБ, вызывающего у большинства страх и ужас. Он же оглядывал свысока всех, стремящихся как можно быстрее пробежать мимо этого здания. Его словно окрыляла поддержка, исходящая даже, казалось, от каменных стен этого дома.

Еще не до конца понимая, к чему ведет эта дорога, он ступал по переулку к домику, скрытому зелению, стучал в калитку. Глаз охранника возникал в «глазке», каждый раз изучая его заново. Заправлял домиком обсыпанный перхотью, нет, не еврей, а литовец в чине майора. Груды писем на идиш лежали на столе и в шкафах. Цигель должен был их регистрировать и перлюстрировать, то есть, другими словами, читать чужие письма и переводить их на русский язык. Майор же занимался явно весьма интеллектуальным трудом: держал каждое письмо на пару, осторожно расклеивал и затем заклеивал конверт.

Время шло. Вовсю раскручивал свои маховики 1956 год. Двадцатый съезд. Венгерские события. Тройственная агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта.

Только не гуманитарий, как я, говорила мать, испытавшая страшный испуг, когда вождь и кормчий разоблачил академика Марра, в русле теории которого она писала диссертацию по языкознанию. Только не юрист, говорил отец, в последнее время как-то резко состарившийся и скособочившийся. Работал он теперь в органах партийного контроля, отсиживал нормальный рабочий день, но все еще страдал бессонницей в память прежних ночных бдений.

Так Цигель оказался в Политехническом.

Но, несмотря на все это, он продолжал во второй половине дня являться в неизменный домик. Только улицу, которой он шел, срочно переименовали, заменив Сталина Лениным.

Привычно регистрируя и перлюстрируя, взял очередное письмо в бюро розыска родных. Адрес был написан по-русски и на идиш. Пришло письмо из Израиля и начиналось несколькими предложениями на русском, но с ятями и твердыми знаками. Некий Мордхе-Йосл Берг искал свою младшую сестру, с которой потерял связь в двадцатые годы. По пришедшим к нему сведениям, она должна была находиться в Вильно. Затем начиналось письмо на идиш к самой сестре.

И тут Цигель похолодел. Это было письмо к его бабке. И хотя майор, обычно слегка выпивший, дремал в соседней комнате, Цигель осторожно, с колотящимся сердцем, вложил письмо обратно в конверт и спрятал его во внутренний карман пиджака.

Майор не заметил потери письма.

Домой Цигель не шел, а крался в темноте на ватных ногах. Облюбовал пустынное место неподалеку от зверинца. Сжег письмо, развеяв пепел на ветру под скрипучий голос московского диктора из репродуктора, висящего где-то неподалеку на столбе, клеймящего Бен-Гуриона вкуче с Ги Молле и Антони Иденом, осмелившимися напасть на братский Египет.

Он понимал, что спасая мать и отца, делавших прочерк в анкетах, в графе о родственниках заграницей, он совершил величайшую подлость в отношении любимой бабки, которую через столько страшных лет не уставал разыскивать родной брат. Он же, ее внук, сжег последнюю нить, связывающую ее с братом.

Через пару дней Цигель-младший немного успокоился и почти уверил себя, что никто не спохватится и не начнет искать письмо, которое ведь было и на почте зарегистрировано.

В пятницу под вечер, когда бабка зажигала свечи, готовясь молиться, Цигель осторожно спросил ее, много ли было у нее братьев и сестер.

– А как же, – сказала бабка, – сестры Шлема и Рухл, и три брата. Младшенький Янкалэ, средний Хилл, и старший, который еще в двадцатые годы уехал в Израиль, Мордхе-Йосл, самый умный, настоящий праведник.

Оказывается, в те же годы Хилл уехал в Америку, а Янкалэ – во Францию учиться. Рухл жила в Кучурганах, а Шлему парализовало еще до войны, и дочь ее Сима увезла ее в Черновицы.

Бабка тяжело и печально вздохнула, завершив рассказ словами: всех их след простыл.

И стала молиться за родных и близких, живых и мертвых.

Любовь зла...

Цигель нравился женщинам, старше его по возрасту, замужним и разведенным.

Однажды, в кафе «Неринга», он положил глаз на девицу с рыжей копной волос и голубыми глазами. И она начала ему строить глазки в присутствии, скорее, отсутствии упившегося кавалера, который мирно спал с нею рядом, уронив голову на стол. Испытанным не раз приемом Цигель, расплатившись, вальяжно начертал на клочке счета номер своего телефона. Проходя мимо нее, наклонился, шепнул ей на ухо: «Вы удивительная красotka, рыжая bestия», положил на стол бумажку с номером телефона и, как говорится, мгновенно испарился.

В течение недели Цигель был озабочен размышлениями, о двух юношах, очевидно местных, отлично знавших идиш и с недавних пор ставших его «коллегами». Это было весьма странно, ибо местные евреи не желали сотрудничать с гебистами. Но вот же, действительно, свято место пусто не бывает. В сравнительно обширном домике, скрытом в зелени, стало тесновато. То ли жажда чтения чужих писем успешно заменяла этим слегка прыщавым юнцам половое удовлетворение, то ли значительно увеличился поток писем из-за рубежа. Последнее Цигель проверить не мог. В разгар этих весьма невеселых для него размышлений раздался звонок: «С вами говорит рыжая bestия».

У нее был удивительно мелодичный голос.

«Bestия» жила на окраине города, в небольшом домике с толстыми старыми стенами. Аккуратная сухая старушка с лицом некогда аристократическим, чем-то похожая на бабку Цигеля, но явно менее властная, приветливо поздоровалась. Смотрела телевизор, была немного глуховата, почти не выходила из своей комнаты. Они сели за небольшой столик в комнате рыжей, которую старушка назвала негромким извиняющимся голосом «Лара». Что-то байроновское, грустно-привлекательное было в этом имени. Цигель листал томики в серой матерчатой обложке, старое издание Леонида Андреева, горячие осколки бабушкиной юности.

– Можно и мне тебя называть Лара?

– Конечно, – сказала, мельком коснувшись его волос. На маленьком столике, накрытом чистой белой скатертью стояла бутылка красного вина, какая-то домашняя еда. Лара была

младше Цигеля, но успела уже выйти замуж и развестись. Работала в филармонии, ставила эстрадные программы. Имела отношение к варьете в кафе «Неринга» с допустимыми элементами стриптиза. А упившийся ее спутник – коллега по филармонии.

У Лары были удивительно длинные верхние веки, почти всегда прикрывающие наполовину глаза, едва уловимо придающие лицу нечто совиное или скорее томно-восточное, что раньше у него неосознанно связалось с именем Лара. За этим как бы всегда сонным взглядом таилось одновременно податливо-мягкое и высокомерное. Под веками дремотно пульсировала жизнь, бескорыстно творящая добро, но и знающая себе цену. Такие женщины должны быть у самых неуравновешенных мужчин, летящих, сломя голову, на поводу у своих чувств. Если они пьют, то до беспамятства, если уезжают, то лишь на край света, если вступают в спор, то до крови. Потом они приползают к ней, как побитые псы. Она их, беспомощных, с глазами, полными собачьей преданности, отпаивает и отхаживает, но при этом сама по себе, высокомерна и недоступна.

Постель была прохладной, доброта ее всерастворяющей и нежной. Цигель ощущал себя ребенком, податливым, несведущим и благодарным. Он ведь нуждался в опоре, но не детская неискушенность, а младенческая сторона души взрослого мужчины раскрывалась в эти мгновения, требуя участия, нежности и ласки, – мужчины, в то же время знающего, что он сильный, смертельно необходим, сам опора этому участию.

Он просыпался ночью, не беспокоясь, что дома его хватятся. Ведь они были приучены долгими годами к ночной деятельности отца.

В окне, по-старинному высоком, мерцали звезды и чуть покачивались верхушки деревьев. Он ощущал теплоту ее сна. Что-то в этом было от настоящей, прочной, не выдумывающей себя жизни, и знание этого было ему крайне необходимо.

Завтракали прямо в постели. Проводила до дверей, не просила звонить или заходить, улыбалась из-под высокомерно опущенных век.

Такое было у него впервые в жизни. Шли дни и недели. Он все больше привязывался к ней.

Однажды, пересекая вестибюль здания КГБ, по пути к Аусткалну, которого он тут посещал лишь в экстренных случаях, замер на миг. Он готов был поклясться, что в глубине коридора мелькнула, мгновенно вызывающая прилив крови к сердцу, копна знакомых рыжих волос. И походка ее была какая-то непривычно уверенная.

Неужели ее приставили за ним следить, как за важной персоной? Ну, не смешно ли? Это его даже как-то восхитило. Надо было осторожно от нее отдаляться.

Через какое-то время она стала названивать, что явно было не в ее стиле. Он жаловался на простуду, покашливал. Но в тот же вечер, после ее звонка, пошел в кафе «Неринга» с намерением «зацепить» какую-нибудь девицу во время танца.

В углу кафе сидела шумная компания парней и девушек. Все были, в основном, белеватого нордического типа, кроме одной черненькой, миниатюрной, чем-то похожей на мать Цигеля. Она показалась ему еще нетронутой. Ее он и пригласил на танец, и, двигаясь в ритме танго, краем глаза отметил, как ему показалось, рыжую, с огненным при свете уличного фонаря оттенком, копну волос, мелькнувшую за окном.

В общем-то, это было ему на руку, но всерьез пугало, что, быть может, все это ему мерещится. Черненькая танцевала легко. Он тут же перешел с ней на «ты», хотя она рта не раскрывала. Удивляясь самому себе, стал перед ней похваляться какой-то секретной работой.

То ли под влиянием рыжей Лары, мелькнувшей за окном. То ли по требовательному внутреннему позыву, требующему хотя бы немного освобождения от накопившейся в душе зажатости. Ведь он не был настолько самоуверен, чтобы не понимать, что двойное его существование противно природе человека.

И тут она тихо, но жестко, неожиданным для такой пичуги низким голосом сказала:

– Ну, что ж, на «ты» – так на «ты». Только зачем ты так напрягаешься и врешь напропалую?

– Я вру?

– Это же видно невооруженным глазом. Одни, вероятно, просто молчат, слушая тебя, ибо тактичны. Другие, наверно, переглядываются, если ты им в компании вешаешь лапшу на уши. А мне терять нечего. И вообще, кто-то же должен тебе это сказать для твоей же пользы. Подумай об этом. И вообще, отцепись.

Совершенно обескураженный, он вышел из кафе и не успел пройти несколько шагов, как сбылось то, что ему мерещилось. От дерева отделилась стерегущая его Лара, совсем не похожая на выдуманный им ее образ, – крикливая, и, главное, плачущая. Цигелю не хватало только семейной сцены в этот мерзкий вечер. Он встряхнул ее и сказал, сам в это не веря, что видел ее в КГБ и решил, что приставлена – за ним следить. Она обмякла, повернулась и растворилась в темноте. Все его подозрения оказались правдой.

Слова черненькой девицы не давали ему покоя. По вечерам он крутился у «Неринги», надеясь, что она там появится. Ведь не знал ни имени ее, ни адреса. Повезло ему совершенно неожиданно и в абсолютно другом месте. Увидел на какой-то улице блондинку, явно из той компании в кафе, бросился к ней. К удивлению, она его сразу же узнала и так же просто назвала имя черненькой – Дина, и дала ее адрес.

Теперь по вечерам у него был забот полон рот. Он таился за углом, выслеживая ее. Два раза увидел, но так и не осмелился приблизиться. И это он, Цигель, легкий на знакомства, самоуверенный и бесцеремонный со слабым полом.

Он падал с ног, ибо с утра работал в конструкторском бюро, где его ценило начальство, вероятнее всего, благодаря тайному покровительству Аусткална. Несомненно, заведующий бюро был тоже окольцованной Аусткалном птицей.

После работы он с явной неохотой шел в домик, скрытый зеленью. И лишь после этого добирался до того угла, из-за которого следил за черненькой. Однажды, увидев ее издали, бросился со всех ног по противоположной стороне улицы, чтобы выйти ей навстречу, как бы невзначай. Надо было успокоить дыхание и примерить к лицу маску полного удивления. Но все это оказалось ненужным. Она увидела его и просто сказала:

– Здравствуй.

– Здравствуй, Дина.

– Откуда ты знаешь мое имя?

И тут он, вздохнув, облегчая душу, стал ей рассказывать, как искал ее след, как неожиданно наткнулся на девицу, которую запомнил в их компании, она и дала ему все данные. Самое потрясающее было то, что он безошибочно определил: Дина – еврейка.

Через месяц они поженились. Через год родился сын, еще через два – второй. Жили они в ее квартире вместе с ее матерью, зарабатывающей гроши работой секретаря-машинистки в районном отделе народного образования. Отец их бросил, когда дочь была еще совсем ребенком.

Дина работала библиотекарем в одной из городских школ, благодаря пусть небольшой, но все же протекции матери. Это давало ей достаточно свободного времени, чтобы возиться с собственными детьми. Аусткалн обещал добиться для них квартиры. При всей своей проницательности жена и представить себе не могла, чем обеспечивает вполне приличное пропитание их детей ее муж.

Маска, я тебя не знаю

Аусткалн вызвал Цигеля в связи с новым заданием, значительно разрежающим накопившуюся скуку чтения чужих писем. В Литву должна была приехать из Москвы делегация

идишских писателей – рекламировать подписку на журнал «Советише Геймланд» – «Советская Родина». Их надо было сопровождать, записывать на пленку каждое слово и затем перевести на русский.

– Учитывая ваше умение скрываться под маской, – сказал Аусткалн, имея ввиду уже один удачный опыт с Цигелем, посланным ими на международный молодежный фестиваль в Москву, где он весьма ловко следил за теми, кто получал материал от израильских делегатов, – мы выбрали именно вас – сопровождать делегацию по республике.

– И в Вильнюсе тоже?

– В первую очередь, коллега. Но вы не волнуйтесь. Перед каждой встречей вас будут гримировать. Разве не заманчиво побывать в шкуре актера, играя самого себя?

– Вы думаете, я справлюсь, – неуверенно сказал Цигель.

– Несомненно. Это же – разведка боем. Перед будущими сражениями, – непонятно на что, но весьма обещающе намекнул Аусткалн. – Дома скажете, что едете в командировку на неделю. Командировочные вам выдадут на работе. В Клайпеду. Жить будете в гостинице, да-да, здесь в Вильнюсе. Загримируют вас мастера этого дела. Под чужой фамилией можете гулять по городу инкогнито. Имя и фамилия ваши будут, – Аусткалн порылся в бумагах, извлек настоящий паспорт с фото, на котором Цигель не узнал себя в человеке с усиками и светлыми волосами, – вот, Давид Айзен. Под это фото вас и загримируют.

Дело принимало серьезный оборот, но игра, как говорить, стояла свеч.

На вечерах он сидел во втором ряду президиума, за гостями, и все время беспокоился: не отключится ли в кармане миниатюрный магнитофон. Время от времени уходил за кулисы и в темноте перезаряжал пленку.

В Вильнюсе особенно чувствовалось напряжение. С трудом разбирал реплики из зала, надеясь на мощь звукозаписывающего устройства, которое очень хвалил выдававший его Цигелю работник органов.

Фотограф, явный посланец Аусткална, непрерывно снимал сидящих в зале, не обращая внимания на сцену. Каждый выкрик из зала сопровождался вспышкой.

Враждебность к сидящим на сцене была настолько ощутима, что, казалось, нечем дышать. Зал не верил ни одному слову выступающих.

Когда восхваление советской власти начинало ползти вверх, достигая патетических высот, в зале раздавалось гудение, постукивание ногами. При этом на всех лицах написано было полное равнодушие и отчужденность.

Больше всего Цигель-Айзен был удивлен числу знакомых в зале.

Он и не подозревал, что они евреи. В зале был свет, и он сумел, не торопясь, переписать их всех. Кого знал по имени, кого по фамилии, кого по внешнему виду.

На выходе из зала, в толпе, он услышал реплику:

– Видел этого голя-блондинчика за спинами президиума. С усиками под фюрера? Все время записывал, но не выступил. Сексот вонючий. Брал всех на карандаш. Я их за километр чую.

Аусткалн был весьма доволен работой Цигеля:

– Вы становитесь истинным профессионалом. Растете на глазах.

Глаза же Цигеля то и дело поглядывали на конверт с вознаграждением.

Грянул шестьдесят седьмой год.

Опять он сидел перед Аусткалном, который был чем-то весьма озабочен:

– Ждут нас большие дела. На Ближнем Востоке. Оставь идиш. Ты иврит хоть немного знаешь?

– Ну, те же буквы, что на идиш. Могу немного читать, не понимая.

– И на том спасибо. Так вот, посылаем тебя в длительную командировку, в школу внешней разведки под Москвой. Месяца на три. На работе ты на хорошем счету. Тебя ждет повышение. Но для этого ты должен пройти курсы по повышению квалификации, понял?

– Завидовать будут.

– Не без этого.

В аэропорту его ждала машина. Ехал и жадно смотрел на бесконечные подмосковные хвойные леса, обступающие узкую ленту дороги. Школа была расположена в глубине леса. Цигель и не знал, что может быть такая оглушительная тишина. Все улыбались друг другу, но никто ни с кем не общался. Занятия, в основном, были индивидуальными. Как говорится, каждому ученику свой учитель. Цигелю тут же присвоили кличку и дали код. Вероятнее всего, думал Цигель, и учителя также выступают под кличками, ибо иногда обратишься к тому или иному из них, а они не реагируют.

Нагрузка была невероятной. Учили фотографировать документы миниатюрным фотоаппаратом, писать симпатическими чернилами. Только английским языком занимались группой. Объясняли, как прятать снимки в обычных семейных альбомах, как устраивать тайники, как вести себя на следствии, как уходить от преследования.

Кроме всего этого три раза в неделю Цигеля возили в Москву, в какой-то пропахший вонью подъезд здания, где на втором этаже проживал старый подслеповатый еврей, носивший очки с толстыми стеклами, к которым почти прижимал страницы книги. В качестве учителя иврита старик оказался форменным извергом. Для начала велел Цигелю написать алфавит. Прополз по записи очками, фыркнул. Трудно было понять, остался довольным или нет. И начались мучения. Старикашка-то был двуязычным. Занятия длились по десять часов в день. Возвращаясь, Цигель засыпал в машине, не ужинал, валился в постель.

Дни ползли, и не было им ни конца, ни края.

Усугубляли все это возникшие подозрения относительно жены. Еще тогда, в кафе «Неринга», он заметил в компании красавчика, литовца Витаса, с которого она не сводила глаз. Теперь же, сколь поздно он не звонил, мать, которая возилась с детьми, отвечала, что Дины дома нет, задерживается на работе. Ну, какая еще там работа ночью в школьной библиотеке? Не выдержал, попросил ведущего, хотя это строго воспрещалось, разрешить ему дать жене какой-то телефон, чтобы она ему позвонила.

Прошло достаточно много времени, потому и поздний звонок от нее был неожиданным. Он услышал ее непривычно сладковатый голос, ее смешки на фоне каких-то голосов и музыки: «Ну, как ты там повышаешься? Совсем женушку забыл». Все это было как внезапный тупой удар ниже пояса, хотя ни в чем ее заподозрить нельзя было. Он даже забыл спросить про детей.

У Цигеля была феноменальная память на имена и даты, и ведущий, судя по знаниям и эрудиции, крупный специалист по шпионажу, прочил ему блестящее будущее, если таковым вообще может быть будущее на этом поприще.

Где-то на втором месяце учебы он внезапно обнаружил, что свободно читает и пишет на иврите. Старик давал ему учить наизусть некоторые псалмы Давида, главы из Экклезиаста и пророка Исаяи. Иногда слезы проступали на глазах, и ком подкатывал к горлу при чтении этих текстов, настолько их высокий накал и чистота раскаяния не вязались с тем, чем он, Цигель, занимался в школе и собирался в будущем заниматься в жизни.

В предпоследнюю неделю курса отвезли его в московскую гостиницу, откуда он каждое утро, как на работу, ездил в институт по повышению квалификации в области автоматике и телемеханики, усваивая все новшества.

Аверьяныч

Последняя неделя на курсах запомнилась Цигелю на всю жизнь.

Шестого июня его вырвал из сладкого утреннего сна какой-то грохот, топот, голоса, выкрики, будто выбили пробки тишины из всех отдушин и ушей. Во всех классах работали телевизоры, транслирующие Би-Би-Си, французские и немецкие каналы. Информация, не доходящая до простого советского человека, хозяина «необъятной родины своей», сюда накапывала вал за валом. Все протирали глаза со сна и не верили своим ушам: военная авиация Израиля в течение нескольких утренних часов уничтожила военно-воздушные силы всех окружающих ее арабских стран.

Такого провала советской внешней разведки, одним из бастионов которой была эта школа, пожалуй, еще не было. Несколько дней учителя и ученики школы пребывали в шоке. Шушукались о том, что теперь полетят головы начальства.

А на экранах телевизоров круглые сутки гремело и свистело. Дымились груды алюминия, оставшиеся от родных советских «МИГов». Горели родные советские танки, бронемшины, орудия – в песках Синая. Цепочки кирзачей, оставленные египетскими солдатами, которые предпочли бежать босиком по раскаленному песку, чем тащиться в пованивающих портянках сапогах, тянулись за горизонт. Плавилось и растекалось железо, тлела ткань, разлагалась мертвая плоть, как на сюрреалистических картинах.

Герой Советского Союза, товарищ Насер перекрыл идущие по дну Суэцкого канала водопроводные трубы в Синай, и десятки тысяч египетских солдат умирали от жажды. По пустыне разъезжали израильские солдаты на джипах, поили тех, кто еще подавал признаки жизни, и увозили в лазареты.

Не было сил оторваться от экранов. Некоторые учителя украдкой вытирали слезы. Ученики слонялись по лагерю или уходили в лес, только бы не видеть и не слышать. В лесу был сухостой. Короткие грозы начала июня не могли заглушить непрерывный гром войны, лишь чуть увлажняли землю, и после них духота становилась невыносимой, хотя, казалось, в тени деревьев должно быть прохладно.

У Цигеля тоже текли слезы, но совсем по иной причине, чем у окружающих.

Это были слезы стягивающей горло спазматической радости за своих – трудно поверить – братьев-евреев, унижаемых и травимых, которые вдруг показали всему остолбеневшему миру – на что они способны.

В эти дни в школе по радио и телеприемникам, шла прямая трансляция репортажей с полей сражений. А в разговорах не проступала, а просто свирепствовала свобода слова, выражаемая в основном, анекдотами и непечатными выражениями. Уже гуляла шутка о том, что вторая половина двадцатого века отличается от первой тем, что теперь евреи воюют, немцы борются за мир, а русские – с пьянством.

В один из дней Цигель внезапно увидел идущего прямо на него человека выше среднего роста с двумя глубокими залысинами по сторонам черепа и беспощадным остекленевшим взглядом двух, подобных стволам, глаз, от которого обрывалось внизу живота, и начинал заплетаться язык. В правильных чертах его лица наметанный глаз мог отметить слабый сдвиг, отличающий лица маньяков и палачей.

В июньскую жару человек был запакован в заграничный элегантный костюм, свежесглаженную рубаху и тщательно подобранный галстук, как будто минуту назад вернулся из-за бугра, что в этом гнезде вышколенного шпионажа было делом обычным. Точнее сказать, не в гнезде, а на острове, изолированном от окружающей советской жизни. Об остальном пространстве здесь могли с полной уверенностью петь «я другой такой страны не знаю». Однако, согласно узаконенным правилам обучения в этой школе и по принятой в ней шкале ценностей, в сущности, подразумевалось обратное: здесь приучали школяров знать лишь другие страны, вживаться в них, чтобы виртуальность их существования здесь обернулась реальностью там.

Человек со взведенной двустволкой бесцветных, почти белых, какие бывают в минуты бешенства, но абсолютно ледяных глаз, простреливал Цигеля взглядом, от которого он весь

покрылся потом. Кажется, до дна исчерпал наслаждение, смешанное со страхом – от подглядывания, подслушивания и доноительства. Оказывается, не все. Со дна души, как из отдушины, миг назад называемой пищеводом, возникли доселе неведомые Цигелю, дурно пахнущие нюансы этого чувства страха. В нем главным было раболепие собаки перед сильным хозяином, который, как может потом выясниться, и сам слаб, но умеет внушить тебе, что твоя дражайшая жизнь в его руках. В приступе уничтожения хотелось эти руки лизнуть.

– Цигель. – Сухой, хрипловатый, металлический голос прошел скребком по спине Цигеля, затем по черепу, подняв его волосы, как наэлектризованная расческа.

Человек сжал рукой, а вернее, клешней, выглядящей, как орудие пытки, обернутой обшлагом рубахи с дорогой запонкой, руку Цигеля:

– Моя фамилия Козлюк. Это ведь перевод твоей фамилии с идиша на русский. Так что ты, брат, из наших, Козловых, правильно я понимаю?

– Д-д-да, – слабо пискнул Цигель, не сумев, вопреки желанию, скрыть потный поток масляного обожания, хлынувшего из всех пор и омывшего лицо бессмысленным выражением, которое может появиться только у слабоумного.

– Ты как бы мой двойник. Только ты ведомый, а я ведущий. Отныне я твой куратор, почти прокуратор, но не Понтий Пилат.

«Ишь, начитанный» – мелькнуло в голове как бы приходящего в сознание Цигеля. Совсем недавно, в ноябрьском номере прошедшего и январском этого, шестьдесят седьмого года, журнала «Москва», был опубликован роман Булгакова «Мастер и Маргарита», взбудораживший читательскую массу по всему Союзу.

– Потому, – продолжал Козлюк, – зови меня просто – Аверьяныч. И не беспокойся. Где бы ты не был, что бы с тобой не случилось, я всегда буду рядом с тобой. Молись, и помни обо мне, – неточно, но весьма впечатляюще процитировал слова тени отца Гамлета.

«Отныне у меня нет своей тени, – чувствуя, как ум заходит за разум, в полном смятении подумал Цигель, – его тень поглотила меня полностью».

Нестандартное поведение асса ловли человеческих душ не давало возможности Цигелю вернуться к себе. В следующий миг, явно чем-то озабоченный, Аверьяныч взглянул на часы, извлек из кармана миниатюрный транзистор, включил. Уже знакомый Цигелю по голосу, говорил на иврите диктор главной израильской радиостанции Бэт: передавал последние новости.

– Дело близится к концу, – сказал вдруг Аверьяныч на чистом, без всякого акцента, иврите, – полнейший разгром арабов. Уже и шутка есть: евреи в субботу не воюют.

И Цигель, уже бегло говорящий на иврите, просто онемел и окаменел, отчаянно шаря в сознании, чтобы обнаружить хотя бы слово для вежливой поддержки разговора.

– Ладно. Не переживай. «Хазак вэ амац» – «Будь силен и мужественен», – Аверьяныч достал из внутреннего кармана плоскую металлическую фляжку и два наперстка, налил коньяку.

– Ну, со знакомством.

И растворился в воздухе, как, проделывали это иные персонажи уже помянутого романа, Коровьев или, скорее, спецслужбист Азazelло.

Заложник пошлой страсти

Цигель позвонил домой, как всегда, застав тещу с детками, сообщил, что прилетает в понедельник. Теперь, будучи уже докторантом сыска, он готовил западную жене, собираясь вылететь на два дня раньше, – в субботу.

Жажда мести сушила горло, но и обостряла память. Он точно помнил, где живет этот Витас: однажды они провожали его домой всей компанией.

Цигель из аэропорта поехал прямо к родителям, чтобы оставить там вещи.

Отец был очень возбужден. Оказывается, получил задание выступать в разных организациях от имени Дома политпросвещения с разоблачением израильских агрессоров. Обложившись грудой каких-то брошюр, конспектов, он что-то сосредоточенно писал, вскакивал, жестикулировал:

– Слышал, что творится на Ближнем Востоке? Нет на них Сталина, он бы там быстро навел порядок.

Отец готов был читать сыну лекцию и был разочарован тем, что сын, чмокнув его в щеку, тут же исчез. Добрался до дома Витаса и, как говорилось на профессиональном языке подмосковной школы, «залег в слезку». Было поздно, усталость брала свое. Несмотря на середину июня, пробирал холод. Он уже начал сомневаться в успехе своего замысла.

И тут вздрогнул, но не от холода. Долгожданная парочка выпорхнула из подъезда, и в обнимку, целуясь и смеясь, пошла в сторону Цигеля. Он едва успел отпрянуть за цоколь, но они бы все равно не обратили на него внимание. Цигель поймал такси и в два счета добрался до дома.

Старуха не хотела открывать дверь, твердя в каком-то ступоре, что Цигель должен приехать через два дня.

– Да это же я, мама, вы что, голоса моего не узнаете?

Сюрреалистичность происходящего с ним с момента, как он встретился с Аверьянычем, словно бы вцепилась ему в загривок и не отпускала.

Он сидел в кухне, привыкая заново к забытому окружению, пил горячий чай, согревая ладони о стенки стакана и успокаиваясь хотя бы потому, что все, как он и предполагал, сошлось. Но что-то уж очень это успокоение напоминало тихое помешательство. Следовало взять себя в руки.

Заглянул в детскую. Сыновья спали рядом, и младший обнимал старшего брата. Не хватает им родительской любви, думал Цигель, вытирая слезы, невольные выступившие на глазах. Чувствовал, что задыхается. Попытался открыть окно в кухне, но старуха, панически боящаяся сквозняков, намертво законопатила створки.

Так вот, вырвали его из скуки и затхлости прозябания, дали попробовать вкус причастности к тайному миру, в котором решалась – не будет преувеличением сказать – судьба завтрашнего дня человечества. В этот миг, в уныло пропахшей варевом кухне, устрашающий Аверьяныч уже воспринимался как фигура легендарная. И р-раз – одним махом вернули его, Цигеля, в прежнее захолустье жизни мелкого инженеришки и читателя чужих писем. Он ужасно себя жалел, совсем размяк, даже подумывал простить ее, взвешивая все ее наслаждения, страхи, раскаяния, боль – весь этот неповторимый букет ощущений, рожденный одним – жадой одолеть скуку, однообразие, одиночество, его равнодушие и вечную усталость от ничегонеделания на работе в библиотеке.

Стрелка часов отсчитывала третий час ночи. В тишине раздался щелчок.

Словно бы ключ повернули прямо в его сердце, и оно замкнулось.

Судорожным движением, не зная зачем, надел темные очки. Разбуженные в нем Аусткальном актерские способности, взыграли не во время.

Она возникла на пороге и тоже сделала движение – броситься к нему. Замерла. Отчужденность, прячущаяся за очками, была гнетущей и угрожающей.

– Цигель, дорогой, – наконец-то выдавила неуверенно, с искусственной игричностью, – я была на дне рождения.

– Я вас видел, – проскрипел деревянным голосом, с трудом разлепив губы, – вы обнимались и целовались.

И пошел к выходу.

– Дети, – отчаянно крикнула она в захлопнувшуюся за ним дверь.

Учитель древности

Шеф на работе принял Цигеля с распростертыми объятиями, возвестил ему, что отныне он вступает в должность старшего инженера проектов, и сотрудники, чьи кислые лица оплывали в улыбках, просят его сделать в конце недели небольшое сообщение о том, что он почерпнул нового в профессиональной области.

Также и Аусткалн расточал ему комплименты, обнимал за плечи, вручил конверт с деньгами, неизвестно за что:

– Пришла характеристика из школы. Сплошь превосходные степени. Вы – прирожденный разведчик. Прямо так и написано. Вам предстоит переходный период. Но весьма важный. Пока отдыхайте. Ровно через неделю вы у нас. Вот, я вам выписываю пропуск. Вас ждет сюрприз.

Дела шли превосходно, заработок значительно увеличился, а на душе скребли кошки. Во время его отсутствия, три месяца жена получала за него зарплату. Теперь он жил, вернее, ночевал у родителей, целый день пропадая на работе в буквальном смысле этого слова. Он догадывался, что она следит за ним, ибо начинала звонить после окончания рабочего дня, клялась, что ничего такого у нее с Витасом не было, впадала в истерику, но он-то ничего не мог с собой поделать: пребывал в каком-то ступоре.

Поздно, как обычно, вернулся в родительский дом, где вовсю гремел скандал в три голоса, немного развеселивший его. Оказывается, к бабке приходили какие-то молодые евреи записать песни на идиш начала века, которые она пела удивительно чистым высоким голосом. После их ухода отец набросился на нее:

– Чтобы их ноги больше не было в моем доме.

– Это твой дом? – удивлялась бабка. – А где же мой?

– Мама, это опасно для его работы, пойми же, – умоляла мать Цигеля.

– Плевать я хотела на его работу с этими разбойниками. Что? Ну, и пусть меня посадят, я и так не могу ходить.

Тут раздался звонок.

– Дождались, – взвился совсем сошедший с ума отец.

– Да это не в дверь, батя, это по телефону, – даже рассмеялся сын и снял трубку. Опять ее жалобный голос:

– Дети по тебе соскучились.

Удивляясь собственной мягкости, Цигель велел привести детей завтра к входу в зоопарк.

Дети бросились к нему со всех ног, уверенные, что он прямо с самолета. Они ведь не видели его со дня отъезда.

– Мама пусть погуляет, а мы, мужчины, пойдем посмотреть зверей, – сказал Цигель, глядя мимо нее.

– Мужчины и есть звери, – сказала она с вызовом, заставив его невольно оглянуться. Выглядела жалкой: черные круги под глазами, испугавшая его худоба. Он понимал, на что она намекает. «Ходить налево» у мужиков считалось само собой разумеющимся, даже со временем становилось привычкой.

Что говорить, измена носилась в воздухе, облегала, парила над всеми, как дух, не Божий, а бесовский. Да ведь и сама жизнь была с двойным дном: все, от самого первого до самого последнего, говорили одно, думали другое, делали третье. А чтобы хоть как-то быть в ладу с самим собой, кривящим душу во всех направлениях, пили до пьяного забытья. Совесть заедала.

А он умел с этим сладить, ибо испытывал отвращение к алкоголю не потому, что не умел пить, а потому что знал свою слабость: стоило ему выпить, как он абсолютно не помнил, что творил и что говорил. А уж ему-то было, что скрывать. Дал себе зарок – в рот не брать

спиртного, ибо однажды после провала памяти, пришел в себя весь в кровоподтеках, раздетый, в одних трусах, на берегу Нерис. Обчистили до нитки, забрали все документы, среди которых был постоянный пропуск в известный домик. На первый раз обошлось. Документы нигде не засветились, вероятно, их просто вышвырнули в реку.

После прогулки по зоопарку Цигель довел детей до выхода, и они бросились к матери. Поцеловала их, будто не видела их вечность, и они в обнимку пошли по улице.

«Любит обниматься и целоваться», – подумал Цигель, ощутив на щеке скупую мужскую слезу.

Аусткалн был озабочен:

– Что-то вы неважно выглядите. Приехали из школы свеженький, как огурчик. В общем-то, от нас ничего не скроешь. Чека всегда начеку. У вас нелады с женой. Знаем этого Витаса. Прошелыга и бабник. Могу вас уверить, что она больше с ним не встречается и очень переживает. Надо помириться. Это важно для будущего вашего дела.

– Она что-то знает?

– Да как это вообще могло вам голову прийти? Это был бы полнейший провал в нашей работе. А теперь – сюрприз.

Распахнулась дверь, и ослепительно возник не кто иной, как Аверьяныч.

В тот же миг Аусткалн как бы скукожился, стушевался, утянулся вместе с дымом своей сигареты, подобно джину, под выходную дверь кабинета.

Цигель вскочил со стула.

– Сидите, месье, вас ждут великие дела.

С момента их знакомства Цигеля изводил вопрос: сам ли Аверьяныч каламбурит, удачно переиначивая цитаты великих, или набирается остроумия при тайном прослушивании каких-либо интеллектуалов.

Дело в том, говорил Аверьяныч, что после Шестидневной войны стали, как грибы после дождя, возникать кружки евреев по изучению иврита. Масса не только учебной, но и анти-советской литературы проникает из-за рубежа. Молодые евреи спят и видят себя в Израиле, готовы угонять самолеты, пересекать границу. Цигелю надлежит, как можно естественнее, втереться в эти кружки, показать себя, как отличного учителя языка и вообще еврейского активиста. Цигелю следует понять, что это лишь начало большой карьеры в разведке.

– Сам факт моего появления в вашей провинции для тебя означает многое.

– Вы надолго?

– Я, дорогой, нигде не бываю долго. Адье!

Цигель, окрыленный встречей с Аверьянычем, не чуял под собою ног. Естественно, он не мог слышать того, что тот сказал Аусткалну:

– Заполучил ты в клетку редкую птичку. Жидок этот сентиментален. Падок на деньги. Но в нашем с тобой деле может пойти далеко.

По дороге к родительскому дому Цигель думал о том, что успех сам плывет ему руки. Весь вечер он выуживал у бабки песни на языке идиш, рекомендуя передать их молодым евреям, которые готовы были явиться по первому звонку.

Отцу, давно отлученному от всех заушательских дел и невероятно от этого страдающему, сын четко разъяснил:

– Вспомни, какие ты войны вел со старухой по поводу языка идиш, которому она обучала меня. В результате он сослужил великую службу тебе и мне. Понял, куда я клоню?

Отец, который никогда не отличался особой сообразительностью, после этого разговора проникся к бабке не просто уважением, а страхом. Старую ведьму никакой черт не брал, и в их противостоянии она всегда выходила победителем.

Так или иначе, время от времени их квартира превращалась в музыкальный салон. Один из парней приходил с аккордеоном и тут же записывал песенки бабки, которая молодеда на глазах. Внучек, естественно, щеголял знанием идиша, спросил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.